

## Античные образы в произведениях Н.В. Гоголя

*Б. И. МАТВЕЕВ*

Использование образов греческой и римской мифологии – одна из особенностей литературы русского классицизма XVIII и первой четверти XIX века. Понимание античной символики было обязательным для образованного человека тогдашнего общества. Выражения вроде “стрела Купидона”, “Амур”, “Гименей” и подобные им были широко распространены в литературе и в разговорном языке.

Но уже в XVIII веке возникает стремление к снижению мифологических образов в пародийной литературе, например в комической поэме В. Майкова “Елисей, или Раздраженный Вакх” (1771), высоко оцененной А.С. Пушкиным.

В литературном наследии Гоголя, как и его великих предшественников Державина и Пушкина, нередко упоминаются персонажи античной мифологии и истории. В одних случаях они выступают в своем первоначальном значении как олицетворение определенных качеств, дурных или хороших. Например, Зевс как верховный бог, управляющий всеми делами неба и земли, Дриада – лесная нимфа, Мельпомена – муза трагедии, Аид – владыка подземного мира и царства мертвых и т.д. В других – в сниженном, пародийном значении.

В ранний период своего творчества (“Ганс Кюхельгартен”, “Страшный кабан”), а также в литературно-критических статьях из

сборника “Арабески” Гоголь употребляет античные имена преимущественно в прямом значении. Так, в известной статье “Скульптура, музыка и живопись” он, характеризуя “светлый греческий мир”, рисует яркие образы бога веселья Вакха, повелителя морей Посейдона и богини красоты Афродиты со свитой из тритонов – морских божеств низшего порядка (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937–1952. Т. 6. С. 23; далее – только том и стр.). Вкрапление в текст персонажей античной мифологии сообщает ему красочность и выразительность.

В статье “Ал-Мамун”, которая была прочитана Гоголем в качестве лекции для студентов Петербургского университета в присутствии Пушкина и Жуковского, упоминается мифологический герой – многоглазый великан Аргус. Во время сна пятьдесят его глаз были закрыты, а пятьдесят открыты, ими он по приказу Геры, жены Зевса, неустанно следил за его возлюбленной – Ио. По словам Гоголя, восточный правитель “не может ввериться совершенно никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса: минуту засни он – и его полномочные наместники вдруг возрастают, и государство наполняется миллионами деспотов” (8, 79). Античный образ и здесь помогает писателю ярче высказать свою мысль, сообщает сказанному дополнительную экспрессию.

В первых значительных произведениях Гоголя (“Вечера на хуторе близ Диканьки” и “Миргород”) редко встречаются имена великих деятелей античного мира и героев мифов. В “Вечерах” их нет вовсе, в “Миргороде” они упоминаются не более четырех раз. Так, приступая к истории Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны из повести “Старосветские помещики”, Гоголь уподобляет их Филемону и Бавкиде: “...я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их” (2, 8), потому что Филемон и Бавкида в древнегреческой мифологии – счастливые, примерные супруги, до глубокой старости нежно любившие друг друга.

Имя известного римского поэта Горация звучит в повести “Тарас Бульба”. Ее заглавный герой, “экзаменуя” своих сыновей, окончивших бурсу, спрашивает старшего: “Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?” (2, 33).

Но на Сечи, замечает Гоголь, “были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика” (2, 51).

В “Петербургских повестях” античные имена встречаются как нарицательные, сатирически переосмысленные. Такова необычайно выразительная зарисовка Невского проспекта ранним утром: “...нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки” (3, 10). Ганимед в

греческой мифологии – красивый юноша, сын царя Трои, похищенный Зевсом, который сделал его виночерпием. У Гоголя же это молодой официант. В этой же повести при описании жизни петербургских художников мифологические герои предстают в виде гипсовых фигур: “черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате” (3, 17). Гипсовые слепки со знаменитых скульптурных изображений Геркулеса и других мифологических богов и героев (Венера, Зевс) были обычной принадлежностью мастерских художников.

В повести “Портрет” Гоголь также неоднократно прибегает к образам античной мифологии. Главная тема произведения – нравственная ответственность художника за свое творчество. Герой повести Чартков, прельстясь деньгами, губит свое незаурядное дарование, идя на поводу у своих заказчиков: «Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи. “Что мне с ними делать? – подумал художник. – Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется...”» (3, 105).

Психея – олицетворение человеческой души в образе девушки необыкновенной красоты, влюбившейся в Эроту. История любви Эрота и Психеи служила темой для многих поэтов и художников.

Особенно часто встречаются античные имена в главной книге Гоголя – поэме “Мертвые души”, причем как в окончательном тексте, так и в “Первой сохранившейся редакции”, “Второй редакции” и в “Сохранившихся разрозненных черновых отрывках” имена героев античных мифов и истории сохраняются, хотя сам текст от редакции к редакции постоянно совершенствуется, подвергается редакционной правке.

Важно и другое обстоятельство: сатирически переосмыслив античный материал, Гоголь спускает героев Олимпа на Землю.

На эту особенность стиля автора “Мертвых душ” одним из первых обратил внимание В.Ф. Переверзев: “...Образы классической древности у Гоголя очень редки и, что еще важнее, всегда курьезны и смешны” (Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982. С. 71). Это утверждение нуждается в уточнении: античные образы в произведениях писателя не так уж редки, а кроме того, они далеко не всегда курьезны. Это видно из наших примеров, взятых из литературно-критических статей Гоголя и его раннего творчества.

Сохранившиеся черновые редакции первого тома “Мертвых душ” позволяют заглянуть в творческую лабораторию писателя, проследить его поистине титаническую работу над совершенствованием своего стиля. Рассмотрим сцену знакомства Чичикова с сыновьями Манилова.

Сравнение редакций показывает, что дети Манилова сперва назывались иначе: не Фемистоклос и Алкид, а Менелай и Алкивиад.

Менелай – царь Спарты, муж прекрасной Елены, из-за которой началась Троянская война. Алкивиад – афинский стратег, одержавший ряд крупных побед. Фемистокл, имени которого Гоголь придал необычное окончание *юс* – афинский полководец, добившийся превращения Афин в морскую державу. Алкид – одно из имен знаменитого героя греческой мифологии Геракла, совершившего массу подвигов.

Замена Менелая, возможно, была обусловлена его историей: Елена сбежала от него с Парисом. Такая ситуация была бы совершенно нелепым в семье Маниловых, где царили взаимная любовь и согласие. Кроме того, Менелай не отличался особой храбростью.

Гоголь оставил имена, символизирующие физическую силу, мужество (Алкид) и государственную мудрость (Фемистокл).

Комический эффект с именами детей Манилова достигается путем контраста. Геракл еще в младенческом возрасте задушил чудовищных змей, а шестилетний отпрыск Манилова, носящий то же имя (Алкид), готов зарыдать самым жалким образом, когда его укусил за ухо старший брат Фемистоклюс.

Тема героического прошлого и пошлого настоящего пронизывает всю поэму. Греки, отважные и самоотверженные патриоты, контрастируют со “странными” героями Гоголя – Маниловым, Ноздревым, Плюшкиным и подобными им, ведущими бездуховный, обывательский образ жизни. Поэтому не случайно гостинию Собакевича украшают портреты греческих полководцев, деятелей освободительной войны греческого народа против турецких угнетателей, борцов за национальную независимость: Маврокордато, Колокотрони, Канари, Бобелины. Тут же висит и портрет Багратиона, который со стены наблюдал “чрезвычайно внимательно” за жульнической сделкой Чичикова с Собакевичем.

В третьей главе “Мертвых душ” встречаем сатирическое переосмысление образа Прометея, похитившего для блага людей огонь у богов.

В окончательной редакции этого отрывка Гоголь, опасаясь придинок цензуры, переносит место действия из России “в тридевятое государство”: “Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, – да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами подмышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается

такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку!” (6, 49, 50). Упоминание Овидия далеко не случайно: знаменитый римский поэт Публий Овидий Назон – автор “Метаморфоз”, в которых рассказывается о превращениях людей в животных.

Вернувшись в город, Чичиков спешит оформить купчую на умерших крестьян в гражданской палате, председателя которой Гоголь сравнивает с Зевсом, верховным богом, владыкой Олимпа: “Он спешил не потому, что боялся опоздать, опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевсу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додаться; но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу...” (6, 139). Соседство имени высшего мифологического божества (Зевса), а также традиционно-поэтического существительного *брань* (сражение) с разговорным глаголом *додаться* (закончить драку) усиливает экспрессивность текста.

Чиновники казенной палаты именуется писателем жрецами Фемиды, богини правосудия: “Из окон второго и третьего этажа иногда высывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту же минуту прятались опять; вероятно, в то время входил в комнату начальник” (6, 141).

Античные персонажи в бытовой, намеренно сниженной обстановке под пером Гоголя приобретают необычайно живописный вид. Например, Фемиды, которая в древней Греции изображалась с повязкой на глазах и весами в руках, у Гоголя совершенно иная: “Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней; и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемиды просто, какова есть, в neglige и халате принимала гостей” (6, 141).

Одного из “неподкупных” служителей Фемиды, чиновника крепостной экспедиции, Гоголь уподобляет Вергилию, который сопровождал Данте по кругам ада. Подобно героям “Божественной комедии”, Чичиков в сопровождении жреца Фемиды попадает в бюрократический ад крепостной России. Деньги и связи помогают Павлу Ивановичу выбраться из этого зловещего места миллионщиком.

Экспрессивность эпизода достигается прежде всего контрастом высоких имен Данте и Вергилия с бытовыми деталями, характеризующими облик и нравы чиновников с их замызанной одеждой, раболепием низших чинов перед высшими: «“Вот, он вас проведет в присутствие!” сказал Иван Антонович, кивнул головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносящий с таким

усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Virgilius прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла, и в них перед столом, за зеркалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Virgilius почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером» (6, 144).

В выражении лица Чичикова дамы города находят “что-то марсовское”: “Дамы были очень довольны и не только отыскиали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам” (6, 165).

Комический эффект сцены на балу во многом определяется темой разговора Чичикова с губернаторской дочкой: “А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев” (6, 171).

Трудно представить себе более несовместимые личности: древнегреческого философа Диогена, ведущего и проповедующего аскетический образ жизни, и Чичикова – любителя поесть и хорошо одеться, поволочиться за женщинами.

Представление о том, насколько оживляют мифологические образы гоголевский текст, дает сличение Окончательной редакции с теми, где мифологических богов и героев нет. Таково, например, описание чиновников-сослуживцев Павла Ивановича.

Вторая редакция: “Надобно заметить, что до его вступления палата особенно не отличалась взрачностью своих чиновников. (...) Тот глядел на всех волком и грубил и начальнику и подчиненному; другой и не грубил, но какое-нибудь лицо имел такой странной фигуры...” (6, 557).

Гоголь делает описание значительно эмоциональнее, упомянув о жертвоприношениях чиновников Вакху, мифологическому богу виноделия, в Окончательной редакции: “Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. (...) Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, наливав-

шись, отчего в присутствии было нехорошо, и воздух был не ароматический” (6, 228, 229).

Как видим, Гоголь нередко обращался к античной мифологии для придания яркости своему стилю. Боги, герои, поэты, философы древней Греции и Рима – неизменные “внесценические” персонажи его произведений. В “Мертвых душах” они придают повествованию иронический или сатирический характер. Один из излюбленных гоголевских приемов создания комического эффекта – совмещение несовместимого: высокой и разговорно-бытовой лексики. Часто это достигается путем уподобления “небокопителей” богам и героям древнего мира. Вот Петр Петрович Петух, один из персонажей второго тома “Мертвых душ”: “Обедали? закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же – пониже на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани” (7, 174).

Но там же встречаем античные имена и в прямом значении, когда упоминание их показывает силу, красоту героя: “Платон Михалыч Платонов был Ахиллес и Парис вместе: стройное сложенье, картинный рост, свежесть – все было собрано в нем” (7, 178).

Стиль Гоголя необыкновенно живописен, и среди его изобразительных средств античные образы занимают не последнее место.





*Предвиденное и непредвиденное в романе  
М. Ю. Лермонтова  
“Герой нашего времени”*

*О. Е. ФРОЛОВА,  
кандидат педагогических наук*

Роман Лермонтова построен как собрание повестей, от лица рассказчика, Максима Максимыча, Печорина и Казбича (эпизод с Карагёзом как вставная новелла в первой повести “Бэла”). Во всех повестях рассказчики не только наблюдают все происходящее, но и участвуют в событиях, т.е. в одном лице объединены говорящий, наблюдатель и персонаж. От повести к повести меняются рассказчики, сталкивающиеся либо с непредвиденным развитием событий, либо с чем-то давно ожидаемым, но осуществляющимся не сразу. В тексте лермонтовского романа эти ситуации связаны с употреблением наречий *вдруг* и *наконец*.

Нас будут интересовать первые значения слов *вдруг* (неожиданно, внезапно) и *наконец* (после всего, напоследок). Они образуют своеобразную пару. Употребление наречий *вдруг* и *наконец* связано с восприятием событий говорящим. Если он строит предположения о том, что должно произойти, но это не происходит, то употребляется наре-

чие *вдруг*, а когда ход развития событий резко меняется и идет по непредвиденному руслу, возникает синоним слова *вдруг* – *неожиданно*. Появление наречия *вдруг* в речи свидетельствует также и о реакции рассказчика на то, что происходит. Неожиданное, непредвиденное удивляет.

Употребление наречия *наконец* также связан с тем, что рассказчик строит гипотезы о развитии событий, но в этом случае его предположения оправдываются с отсрочкой во времени. На это прямо указывает толкование в Словаре В.И. Даля – *после долгого ожидания*.

Для кого же из персонажей события развиваются непредвиденным образом?

В повести “Бэла” это прежде всего Максим Максимыч. Реакция рассказчика на услышанную от Максима Максимыча историю как на нечто неожиданное, отмеченная словом *вдруг*, встречается только однажды: “В самом деле, я ожидал трагической развязки, и *вдруг* так *неожиданно* обмануть мои надежды!...” (Цит. по: Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. М-Л., 1958–1959. Т. 4. С. 302–303; далее – только стр.). В этой фразе наречия *вдруг* и *неожиданно* стоят рядом. Заметьте, что это единственное употребление в романе синонима наречия *вдруг* – *неожиданно*. В “Бэле” количество наречий *наконец* (13) больше, чем *вдруг* (6), что может свидетельствовать о том, что, с точки зрения Максима Максимыча, все, что должно произойти, “с опозданием”, но все же происходит.

Кто и что же ведет себя непредвиденным образом, удивляя Максима Максимыча? Это, прежде всего, Казбич: “Пробираюсь вдоль забора, и *вдруг* слышу голоса...” (С. 289); “Стали мы болтать о том, о сем: *вдруг* смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице – и к окну...” (С. 296); “... как *вдруг* Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста...” (С. 303). Казбич ведет себя неожиданно для окружающих, даже будучи недоступен для непосредственного наблюдения: “*Вдруг* выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение...” (С. 318).

Что касается вставной новеллы о коне, рассказанной Казбичем, его восприятие отлично от картины мира Максима Максимыча. Неожиданным для него стали глубокая рытвина, через которую перескочил его Карагёз, и преданность коня: “*Вдруг*, что ж ты думаешь, Азамат? (...) я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!” (С. 290).

Поразительно отсутствие слова *вдруг* в рассказе Максима Максимыча, повествующего о странном поведении Печорина.

Употребление в “Бэле” наречия *наконец* (ждать наступления события или реакции собеседника) также относится прежде всего к Максиму Максимычу. Для рассказчика это наречие связано с откры-

вающимся видом и долгой горной дорогой: "...казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и *наконец* пропадала в облаке..." (С. 304); "Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору..." (С. 305). Путь долог не только для рассказчика, но и для возниц: "Ваше благородие, – сказал *наконец* один: – ведь мы нынче до Коби не доедем..." (С. 309).

В остальном предположения Максима Максимыча о развитии событий касаются поведения людей. В своих поступках и ответных репликах "выдерживает паузу" Казбич: "Напрасно упрасивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; *наконец* Казбич нетерпеливо прервал его..." (С. 292). Здесь парадоксальное соединение двух наречий *наконец* и *нетерпеливо*, которое можно интерпретировать так: разговор передан как услышанный, поэтому *наконец* относится к долгим упрасиваниям Азамата (плакал, льстил, клялся), а *нетерпеливо* – к реакции Казбича. Казбич "держит паузу" и в поступках: "Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и *наконец* остановился по ту сторону речки..." (С. 313); "И *наконец* я узнал Казбича..." (С. 318–319).

Второй персонаж, реакции которого приходится ждать Максиму Максимычу, – это Бэла. Разговор Максима Максимыча и девушки о Печорине: "Сегодня ушел? – Она молчала, как будто ей трудно было выговорить. – Нет, еще вчера, – *наконец* сказала она, тяжело вздохнув" (С. 311–312); "Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; *наконец* она села на дерн, и я сел возле нее" (С. 313); "Она посмотрела на меня в нерешимости, и долго не могла слова вымолвить; *наконец* отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась" (С. 322).

Душевная неискушенность Максима Максимыча приводит его в замешательство: он не знает, как вести себя с Бэлой: «*Наконец* я ей сказал: "Хочешь, пойдем прогуляться на вал, погода славная!"» (С. 312).

И только один раз Максим Максимыч ждет эмоциональной реакции от Печорина: "Я бы на его месте умер с горя. *Наконец* он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке" (С. 323–324).

В повести "Максим Максимыч" меньше всего неожиданностей и долгого ожидания событий, поэтому *вдруг* и *наконец* "находятся в равновесии": по одному употреблению. Это самая "малособытийная" повесть, в ней встречаются три рассказчика романа. Единственным наблюдателем здесь является рассказчик, поведение Максима Максимыча неожиданно для него, когда речь заходит о записках Печорина: "Постой, постой! – закричал *вдруг* Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски..." (С. 335). Максим Максимыч теряется, сталкиваясь

с равнодушием Печорина: “Да, – сказал он *наконец*, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах” (С. 336). С точки зрения рассказчика, Максим Максимыч, стараясь подавить эмоции, “с опозданием” реагирует на встречу с Печориным, как бы подыскивая слова.

Печорин выведен в романе как человек пресыщенный и разочарованный, а следовательно, что может быть для него в жизни непредвиденным и неожиданным? Меж тем, именно “Дневник Печорина”, представляющий главного героя как наблюдателя и участника событий, дает значительное увеличение употреблений наречия *вдруг*: в “Тамани” неожиданным для Печорина оказывается поведение слепого и девушки. Слепой удивляет героя странными эмоциональными реакциями и поведением: “Долго я глядел на него с невольным сожалением, как *вдруг* едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его” (С. 342); “*Вдруг* на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень” (С. 343); “*Вдруг* мой слепец заплакал, закричал, заохал” (С. 347).

Девушка поражает Печорина своими порывистыми движениями, непредсказуемостью поведения. Печорин сначала слышит и ощущает ее присутствие, а потом уже понимает, кто становится причиной его беспокойства: “*Вдруг* что-то похожее на песню поразило мой слух” (С. 347); “Уж я доканчивал второй стакан чаю, как *вдруг* дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, – то была она, моя ундина...” (С. 350–351); “*Вдруг* что-то шумно упало в воду: я хватя за пояс – пистолета нет” (С. 352); “Хочу оттолкнуть ее от себя – она как кошка вцепилась в мою одежду, и *вдруг* сильный толчок едва не сбросил меня в море” (С. 352); “*Вдруг* она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прицеливая пальцами, вбежала к старухе (С. 348); “Она *вдруг* прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника” (С. 350); “Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чаю, как *вдруг* она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих” (С. 351).

Количество неожиданностей для Печорина в “Тамани” значительно превышает число “замедленных” реакций людей, с которыми герою пришлось встретиться в этом городе. Слепой мальчик, удивляя Печорина своим поведением, приводит его в замешательство: герой не может понять, кто перед ним: «“Ты хозяйский сын?” – спросил я его *наконец*» (С. 342). Слепой также “с опозданием” совершает поступки, которых ждет от него автор дневника: “*Наконец* из сеней выполз мальчик лет четырнадцати” (С. 341); “*Наконец* он остановился, будто прислушиваясь к чему-то” (С. 344). Еще один случай употребле-

ния наречия *наконец* в повести “Тамань” относится к ситуации, когда девушка и контрабандист ждут прихода слепого: «“А где же слепой?” – сказал *наконец* Янко, возвыся голос» (С. 354).

Что же в повести “Княжна Мери” становится неожиданностью, а что происходит “с опозданием”? Печорин считает Грушницкого банальным и предсказуемым. Тем не менее, Грушницкий часто ведет себя неожиданно для Печорина: “...*вдруг* слышу за собой знакомый голос (...) Оборачиваюсь: Грушницкий!” (С. 358); “*Вдруг* слышу быстрые и неровные шаги... Верно Грушницкий... Так и есть!” (С. 386); “Решетка! – кричал Грушницкий поспешно, как человек, которого *вдруг* разбудил дружеский толчок” (С. 447); “*Вдруг* он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту” (С. 448).

Применительно к княжне Мери наречие *вдруг* упоминается один раз: “Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она *вдруг* на седле покачнулась” (С. 422).

Неожиданностью для Печорина становится гибель его лошади, когда он пытается догнать Веру: “Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но *вдруг*, поднимаясь из небольшого оврага, при въезде из гор, на крутом повороте он грянулся о землю” (С. 455).

Наречие *наконец* встречается прежде всего во фразах, характеризующих отношения Печорина и Веры: “*Наконец* губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй” (С. 380); “*Наконец* мы расстались” (С. 382). Когда Печорин получает записку о свидании, его реакция: “А-га! – подумал я – *наконец-таки* вышло по-моему” (С. 429).

Грушницкий и Мери в своем поведении часто с запозданием, но оправдывают прогнозы Печорина: “*Наконец* они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны...” (С. 385).

Княжна Мери, став объектом жестокого эксперимента Печорина, подтверждает его ожидания своим ответом на вопрос, все ли ее поклонники скучны: “Она посмотрела на меня пристально, стараясь, будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и *наконец* произнесла решительно: все!” (С. 393). Потом, подчиняясь его замыслу, Мери, по-видимому, говорит и делает то, что ждет от нее Печорин: “Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она *наконец* голосом, в котором были слезы!” (С. 422). Печорин и сам увлекается своей игрой: например, ожидая приезда Лиговских, он записывает: “*Наконец* они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло...” (С. 419).

Печорин последовательно осуществляет свой план относительно Мери, добываясь ее благосклонности, и относительно Грушницкого,

мстя ему как счастливому сопернику. Иногда сам Печорин, как игрок, выдерживает паузу, ожидая реакции собеседника: “В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою *наконец* удалился” (С. 398); “Любили ли вы? – спросил я ее *наконец*” (С. 406).

Герой-антагонисты Печорин и Грушницкий с одинаковым нетерпением ждут одного и того же события – бала: “*Наконец* с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись” (С. 392); “*Наконец* я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! – прибавил он” (С. 408). В первом случае с Мери на балу – Печорин, во втором – о бале мечтает Грушницкий.

Наречие *наконец* сопровождает почти все стадии реализации печоринского замысла. Постепенно в игру главного героя вовлекаются и другие персонажи: Грушницкий выслеживает Печорина после свидания: “До двух часов ждали в саду; *наконец* – уж Бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, – *наконец*, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона...” (С. 433).

Осуществление замысла Печорина осложняется и представляется ему уже игрой не на жизнь, а на смерть: “...что если его счастье пережмет? если моя звезда *наконец* мне изменит?” (С. 437).

Ожидание и проведение дуэли также связано для Печорина, Грушницкого и их секундантов с оттягиванием неизбежной развязки. Вернер: “Переговоры наши продолжались довольно долго; *наконец* мы решили дело вот как...” (С. 436). Печорин: “*Наконец* рассвело” (С. 439); “Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; *наконец* доктор прервал его, обратясь к Грушницкому...” (С. 443); “Теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или *наконец* оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности” (С. 445).

Исход дуэли для Печорина тесно связан с доказательством морального превосходства над противником, и это Печорину удается, хотя и не сразу: “Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный. – Оставь их! – сказал он, *наконец*, капитану” (С. 450).

“Тамань” и “Княжна Мери” противостоят друг другу в соотношении неожиданностей и свершения отсроченных во времени событий: в “Тамани” соотношение *вдруг* и *наконец* 10 к 4, а в “Княжне Мери” – 11 к 26. В “Тамани” Печорин становится игрушкой в руках судьбы и контрабандистов, поэтому *вдруг* численно превалирует над *наконец*, а в повести “Княжна Мери” – наоборот, Печорин сам строит свою игру, включая в нее мать и дочь Лиговских, Грушницкого, драгунского капитана, доктора Вернера.

В последней повести романа, в “Фаталисте”, три раза встречается наречие *вдруг* и столько же – *наконец*.

Все употребления наречия *вдруг* связаны с Вуличем: “*Вдруг* раздалась выстрелы, ударили тревогу...” (С. 463); “Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь *вдруг* вспыхнул и смутился” (С. 467); “... на него наскочил пьяный казак... и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, *вдруг* остановясь, не сказал...” (С. 471).

Два из трех употреблений *наконец* связаны с Печориным.

Повесть “Фаталист” в этом отношении уникальна: столь малочисленны при ее сюжетной насыщенности наречия *вдруг* и *наконец*. Но это закономерно: если события свершаются силой судьбы, то здесь не может быть ни неожиданностей, ни отсрочек.

Точно так же, как не случайно во второй части романа, “Дневнике Печорина”, количество наречий *вдруг*, по сравнению с повестями “Бэла” и “Максим Максимыч”, резко возрастает. Следовательно, либо Печорин не является таким разочарованным, каким хочет казаться, либо до конца не познал глубину и противоречивость своей натуры.





## *“Легче держать вожжи, чем бразды правления”*

### **О грамматической форме афоризмов Козьмы Пруткова**

*О.М. ЧУПАШЕВА,  
кандидат филологических наук*

Афоризмы Козьмы Пруткова, автора, созданного фантазией А.К. Толстого и братьев Жемчужниковых в XIX веке, у всех на слуху, мы и поныне с удовольствием цитируем их. Секрет популярности этих “плодов раздумья” заключается не только в оригинальности содержания, но и в художественно отточенной форме выражения.

Афоризм, как известно, – “обобщенная, глубокая мысль определенного автора, выраженная в лаконичной, отточенной форме, отличающаяся выразительностью и явной неожиданностью суждения” (Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. С. 23). У Козьмы Пруткова афоризмы различны по своему характеру: это и наставле-

ния, и рекомендации, и размышления по какому-либо поводу. Наиболее типичны афоризмы-наставления. Как “настоятельный совет, поучение” (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 392), наставление адресовано каждому, любому, то есть обобщенному лицу, и “лаконичной, отточенной” формой для него являются обобщенно-личные предложения. Еще А.М. Пешковский заметил, что форма обобщения переносит содержание предложения на всех, в том числе и на слушателя, “который в силу этого более захватывается повествованием, чем при чисто личной форме” (Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 342): *Лучше скажи мало, но хорошо; Вытапливай воск, но сохраняй мед* (Здесь и далее цит. по изд.: Соч. Козьмы Пруткова. М., 1984. Сохраняется пунктуация источника). Используя повелительное наклонение глагола, автор обращается к читателю как к собеседнику, хорошо ему знакомому, в непринужденном, а то и дружеском тоне, форма 2-го лица единственного числа по отношению к обобщенному лицу придает яркую эмоционально-экспрессивную окраску предложению.

Адресат иногда называется в обращении, но он неконкретен, что только подчеркивает обобщенность высказывания: *Друзья мои! Идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва; Начиная свое поприще, не теряй, о юноша! драгоценного времени! Человек! возведи взор свой от земли к небу [– какой, удивления достойный, является там порядок!].* Одни наставления краткие, лаконичные: *Козыряй! Бди!* Другие распространены второстепенными членами и более пространны: *Купи прежде всего картину, а после рамку! Говоря с хитрецом, взвешивай ответ свой.* Значимость высказанной мысли подчеркивается восклицанием: *Люби ближнего, но не давайся ему в обман! Смотри в корень!*

Козьма Прутков использует обобщенно-личные предложения и с глаголами в изъявительном наклонении в форме единственного числа будущего или настоящего времени и реже – в форме множественного числа буд. наст. времени: *Одного яйца два раза не высидишь! Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь.* В последнем случае это уже не поучение, а скорее рекомендация. Нередко названные формы используются для выражения размышлений, рассуждений: *В спертom воздухе при всем старании не отдышишься; Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру.*

Удобны для выражения рассуждений и безличные предложения: *Легче держать вожжи, чем бразды правления; И при железной дороге лучше сохранять двуколку; Глядя на мир, нельзя не удивляться!*

Однако рассуждения, размышления чаще оформляются двусоставными предложениями: *Пояснительные выражения объясняют темные мысли; Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспита-*

ние; В глубине всякой груди есть своя змея; Усердие все преодолеет! Нередко они начинаются с усилительной частицы *и*, придающей большую значительность, весомость сообщаемому: **И** устрицы имеют врагов! **И** мудрый Вольтер сомневался в ядовитости кофе! **И** в самых пустых головах любовь нередко преострые выдумки рождает. Образность суждения создается выражением мысли через сравнение, уподобление, подчас неожиданное: *Ревнивый муж подобен турку*; *Мудрость, подобно черепаховому супу, не всякому доступна*; *Незрелый ананас, для человека справедливого, всегда хуже зрелой смородины*. Ряд рассуждений содержит связки *есть, суть*, употребляемые “всегда с резонерским оттенком” (Пешковский А.М. Указ. соч. С. 244): *Самопожертвование есть цель для пули каждого стрелка*; *Степенность есть надежная пружина в механизме общезнания*; *Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия*; *Ветер есть дыхание природы*; *Моменты свидания и разлуки суть для многих самые великие моменты в жизни*.

Размышления, раздумья нередко заключены в форму вопросительных предложений: *Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься? Где начало того конца, которым оканчивается начало?* Степень уверенности/неуверенности подчеркивается и лексически: **Не совсем понимаю**: *почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другою, более на судьбу похожею птицею?* Изменение степени уверенности от колебаний до категоричности ярко прослеживается при сравнении одного и того же суждения, но оформленного по-разному: *Есть ли на свете человек, который мог бы объять необъятное?* (раздумье). – *Никто не обнимет необъятного* (предупреждение). – *Никто не обнимет необъятного!* (эмоциональная убежденность). – *Опять скажу: никто не обнимет необъятного!* (подчеркнутая убежденность). – *Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно объять необъятное!* (эмоционально окрашенная категоричность).

В отрицательных конструкциях независимо от места отрицания – при сказуемом или при других членах предложения – появляется дополнительное значение предупреждения: *На чужие ноги лосины не натягивай*; *В отдельном договоре не ищи спасения*; **Не** во всякой игре туза выигрывают! **Не** всякая щекотка доставляет удовольствие! **Отнюдь** не принимай почетных гостей в разорванном халате!

Нередко афоризмы К. Пруткива содержат обособленные деепричастные обороты, и это не случайно: “деепричастия дают возможность одни действия подчинять другим, сделать их выразителями различных деталей и обстоятельств других действий” (Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965. С. 209), а сам оборот, будучи обособленным и начная афоризм, попадает “в центр синтаксического сознания” (Пешковский А.М. Указ. соч. С. 380), именно на нем акцентируется внимание читателя, слушателя. В афоризмах де-

причастный оборот обязательно содержит условное или временное значение, которое ограничивает сферу наставления этими рамками, снижает степень категоричности: *Принимаясь за дело, соберись с духом* (ср.: *Когда принимаешься за дело, соберись с духом; Если принимаешься за дело, соберись с духом*); *Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек; Копая другому яму, сам в нее попадешь*. Аналогичную функцию выполняет и причастный оборот: *Огорошенный судьбою, ты все-таки не отчаивайся!*

Многие афоризмы Козьмы Пруткова имеют строение сложного предложения. Характер грамматических значений сложных предложений ограничен: это значения, предполагающие сравнение, обобщение, обусловленность предметов и явлений. Так, сложносочиненные предложения часто имеют сопоставительно-противительную семантику либо оттенок условного или временного значения. Предложения первого типа суть сравнения с указанием различий или для получения какого-нибудь вывода, они позволяют ярко и убедительно сформулировать мысль: *Петух пробуждается рано; но злодей еще раньше; Вакса чернит с пользой, а злой человек – с удовольствием*. Условный и/или причинный оттенок значения сложносочиненного предложения позволяет обозначить условно-следственные и/или временные связи между обозначенными явлениями: *Отыщи всему начало, и ты многое поймешь; Чиновник умирает, а ордена его остаются на лице земли*.

Большинство сложноподчиненных предложений имеет значение уподобления-отождествления, условное, причинное или целевое: *Бердщи в руках воина то же, что меткое слово в руках писателя; Здоровье без силы – то же, что твердость без упругости; Прихоти производят разнородные действия во нраве, как лекарство в теле; Если хочешь быть счастливым, будь им; Если хочешь быть покоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относись их на казенный; Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет; Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, принимая левою, раздавал правою; Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым! Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие*.

Сопоставительно-противительное, условное и причинное значения имеют и бессоюзные предложения: *Наука изошряет ум; учение вострит память; Шелкни кобылу в нос – она махнет хвостом; Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях! Не ходи по козогору, сапоги стопчешь! Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою*.

В предложениях с разными видами связей сочетаются те же значения: *Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переварива-*

*ет входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется; Смотри вдаль – увидишь даль; смотри в небо – увидишь небо; взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя; Чувствительный человек подобен сосульке: пригрей его, он растает.*

Некоторые рассуждения К. Пруткива представляют собой сочетание нескольких самостоятельных предложений. Оно может быть построено в вопросно-ответной форме, сближающей его с глаголом и создающей эффект живой беседы автора с читателем: *Что есть лучшего? – Сравнив прошедшее, свести его с настоящим; Что есть хитрость? – Хитрость есть оружие слабого и ум слепого.* Текст может быть чисто монологическим, например: *Жизнь – альбом. Человек – карандаш. Дела – ландшафт. Время – гумизластик: и отскакивает и стирает; Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместились бы еще меньшая; Собака, сидящая на сене, вредна. Курица, сидящая на яйцах, полезна.*

Афоризмы Козьмы Пруткива, выступающего в роли наставника, друга, советчика, делает еще более выразительными и запоминающимися оптимально найденная форма грамматического воплощения.

*Мурманск*

## *Образ птицы в прозе И.С. Тургенева*

*О. М. БАРСУКОВА,  
кандидат филологических наук*

Птица – один из самых распространенных в литературе и фольклоре поэтических образов-символов. Это существо природного мира, которому дано то, что всегда было недоступно человеку – способность летать. С образом птицы всегда связывалось представление об идеальном начале – гармонии, свободе, высоте, движении.

В своих произведениях Тургенев широко использует этот образ, наполняя его глубоким содержанием. Мотив движения, полета – основной в композиции рассказа “Призраки”. Это становится очевидным, когда в рассказе появляется летящая стая журавлей: «Крупные красивые птицы (их всего было тринадцать) летели треугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой высоте, в таком удалении от всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовым товарищем, с вожаком, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре. “Мы долетим небось, хоть и трудно”, – казалось, говорили они, ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти птицы, в России – где в России! в целом свете немного» (Цит. по: Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.-Л., 1960–1968. Т. IX. С. 103–104; далее только том и стр.).

“Крупные красивые птицы” – символ цельности духа, единства и непреклонности воли, того состояния, которое обычно недоступно тургеневскому герою. Мечтающий соединить ум и волю в одном человеке, Тургенев не мог создать такого героя, потому что не видел его в реальной жизни.

В “Довольно” образ перелетных птиц, летящих высоко в небе, завершает и одушевляет созданную Тургеневым картину ранней весны. В центре внимания – не пейзаж, а психологическое состояние героя: “И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога...” (IX, 114). С образом перелетных птиц для героя связываются весна, жизнь, любовь, счастье – все то, чем так привлекательно для человека его краткое земное бытие.

Проблематика “Довольно” имеет определенную связь с рассказом “Призраки”. Центральная часть произведения – развернутое воспоминание о пережитой любви. Часть эта насыщена поэтическими образами, но ни один из них не отражает такой концентрации душевной энергии, как образ птицы. Тургенев использует этот образ, чтобы обозначить состояние, не поддающееся рациональному осмыслению: “И стою я, весь напряженный и легкий, как птица, только что сложившая крылья и готовая взвиться вновь, – и сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем” (IX, 114). Несомненно, образ птицы связывается с состоянием обретения цельности человеческого духа, преодоления мучительного внутреннего разлада. Такое состояние, наполняющее смыслом жизнь тургеневского героя и примиряющее его с жизнью, уже само по себе является для него счастьем.

К такому значению восходит и образ кувыркающейся в небе ласточки в повести “Затишье”. Не касаясь проблематики повести в целом, остановимся на одной очевидной антитезе: Веретьев – Марья Павловна, связанной с рассматриваемым символическим мотивом. Тургенев в своем творчестве часто противопоставляет друг другу два главных характера – мужской и женский. В женском характере Тургенев всегда выделяет цельность, его героини преодолевают мучительный внутренний разлад, рефлекссию, губительную для мужских персонажей.

Образ ласточки выражает жизненную философию Веретьева, его (и авторский) идеал индивидуального человеческого бытия: “Посмотри-ка вон на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда его и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка” (VI, 124).

Ласточка наслаждается свободой физической, а герой Тургенева мечтает о полете духа, и это ощущение, полагает он, дают вино и страсть. Испытать же такую страсть, которая поглощает всего человека, ему не дано. С птицей в небе связывается то, что далеко, высоко, недоступно.

Образ птицы (чайки) играет символическую роль в рассказе “Певцы”. Обращаясь к этому произведению, вспомним известные слова Л.Н. Толстого о Тургеневе, отличительной чертой которого как художника, полагает Толстой, была “вера в красоту, женскую любовь, искусство”.

Яков Турок, основной персонаж рассказа “Певцы”, – артист в высочайшем смысле этого слова. Эпизод исполнения им песни – кульминационный в произведении. Тургенев мастерски передает состояние всех персонажей, участвующих в этой сцене, и прежде всего самого

Якова: “Яковом, видимо, овладело упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой возносится в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, и вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова” (IV, 241). Сравнение с птицей, столь распространенное в произведениях Тургенева, в данном случае осложнено символической функцией: образ птицы раскрывает то состояние, в котором находится герой.

Сцена состязания певцов – центральная в рассказе. Ее обрамляют картины деревенской жизни; их подчеркнутая прозаичность создает контрастный фон для главного эпизода. В финале Тургенев намеренно ослабляет эмоциональное напряжение, возникшее в сцене состязания; образ птицы остается в рассказе символом той духовной высоты, на которую взлетает певец, увлекая за собой остальных, удержаться же на этой высоте он не может. Мотив падения с высоты почти незаметен в рассказе, но он глубоко органично присутствует в символическом плане произведения.

Состояние полета испытывают Санин и его спутница (“Вешние воды”), отправившиеся на прогулку верхом. Упоминания о птице – “Ну, теперь мы вольные птицы”, “Поедем прямо, как летают птицы” (XI, 143) – предшествуют описанию прогулки, и полет становится его лейтмотивом. Сами по себе приведенные сравнение и метафора отнюдь не оригинальны, но образуемый ими лейтмотив получает символическую нагрузку, связываясь с особым психологическим состоянием героев (упоение жизнью, чувственные ощущения, гармония с природой, с миром), которое возникает при быстром ритмичном передвижении. Ведущая роль в этом эпизоде принадлежит героине, она увлекает героя за собой. В Марье Николаевне Тургенев подчеркивает природное начало, и это важно: то состояние, которое выражает образ птицы, для нее органично, в отличие от героя.

С образом птицы в произведениях Тургенева обычно сопрягается символический образ крыльев, имеющий свою область значений. В повести “Переписка” встречаем метафору “крылья молодости”: “Как часто, как долго они бывают связаны! А потом приходит время, когда они отпадают, и подняться над землю, полететь к небу уже нельзя” (VI, 177, 178). Эта метафора вводится для характеристики основных временных состояний человеческой души, ее молодости, зрелости, старости. И далее герой пишет: “В первой молодости я непре-

менно хотел завоевать себе небо” (VI, 190). “Небо” здесь – высшая сфера стремлений человеческой личности.

Больной Лукерье в “Живых мощах” недоступно никакое движение, ее существование крайне бедно впечатлениями. Тургенев не сообщает читателю, думала ли Лукерья о чем-нибудь, когда она все лето наблюдала за жизнью ласточек, свивших себе гнездо в ее сарайчике. Между тем образ птичьего семейства воплощает в себе то, чего судьба лишила героиню, – свободу движения, радость жизни, семейные связи.

Образ ласточек кажется случайной деталью в данном фрагменте, однако он получает дополнительное значение, будучи соотносительным с одним из снов героини, рассказанных ею охотнику. Сон этот глубоко символичен. Центральная фигура в нем – Христос, у которого крылья “по всему небу развернулись, длинные, как у чайки”. Христос уносит Лукерью высоко в небо, и она, наконец, обретает возможность движения и свободу. Дух Лукерьи еще при жизни постепенно выходит из-под власти тела, связь эта становится минимальной, в сне же героини этот все еще пленный дух воспаряет, освобождаясь. Он словно обретает крылья. Образы птицы и птичьего крыла в рассказе символизируют, с одной стороны, неосуществившиеся надежды героини в ее трудной земной жизни, с другой – небесное парение духа, духовную свободу.

В “Живых мощах” встречается еще один образ, характерный для тургеневских произведений, – образ подстреленной птицы. В рассказе он соотносится с трагической судьбой Лукерьи, которая до болезни была “хохотунья, плясунья, певунья”. Все отняла у нее болезнь, а охотник, застреливший ласточек, лишил ее последнего утешения.

Подобный символический мотив встречается в “Накануне”. В момент глубочайшего душевного кризиса, охваченная предчувствием грядущей катастрофы, Елена наблюдает за полетом чайки над морем и загадывает: “Вот если она полетит сюда... это будет хороший знак”. Однако “чайка закружилась на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то за темный корабль” (VIII, 157).

Вариантом такого образа выступает образ перебитого птичьего крыла. Его мы встречаем, например, в “Дневнике лишнего человека”: “Нечего и говорить, что все это мне стало ясным только в последствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные, и без того несильные крылья” (V, 198). При помощи такой метафоры Тургенев характеризует слабость характера, недостаточную жизнеспособность, скромный масштаб личности героя, ранний надлом в его душе.

Указанный мотив встречается в повести не однажды. Разговор Лизы и Бизьменкова происходит в старой, заброшенной беседке. Разговор этот печальный, сердце Лизы разбито, отъезд князя и его письмо

лишили ее всякой надежды на счастье. В душе у нее пустота, и она признается в этом своему собеседнику. Описание заброшенной беседки, в которой происходит разговор, завершается деталью, вносящей в это описание печальную ноту: “Дверь не затворялась вовсе, как перешибенное птичье крыло” (V, 227). Деталь эта выступает в качестве доминанты в эпизоде в целом, она передает то состояние, в котором находятся герои. Перешибенное птичье крыло – символ несбывшихся надежд, прерванного полета, нанесенного душе увечья, сломанной судьбы, понесенной утраты, жизненной драмы. Эта символическая деталь выражает состояние не только Лизы, но и Чулкатурина, который узнает из разговора, что Лиза его презирает и отдает свою руку Бизьменкову.

В “Стихотворениях в прозе”, описывая глаза умирающего, Тургенев замечает, что в глубине их “билось и трепетало что-то, как перешибенное крыло насмерть раненной птицы” (XIII, 192).

Противоположное состояние тургеневского героя обозначает мотив обретенных крыльев. В “Дыме” так переданы решимость героини, внутренняя готовность, собранность, устремленность к невидимой, но очень значимой для нее цели: Ирина в день первого “торжества”, первого своего выезда в свет, разговаривая с Литвиновым, “глядела куда-то вдаль своими странными, словно потемневшими и расширенными глазами, а поколебленные легким движением воздуха концы тонких лент слегка приподнимались у ней за плечами, словно крылья” (IX, 189). Неодолимая и властная сила влечет ее, и выбор уже сделан, и она, приняв решение, не противится более, а летит, подхваченная этой силой.

Образ крыльев встречается в романе не однажды. Так, например, в одном из описаний крылья и вихрь образуют единый мотив. Теперь уже Литвинов “подхвачен чем-то неведомым и холодным” (IX, 257); “Иногда ему казалось, что вихорь налетал на него и он ощущал быстрое вращение и беспорядочные удары его темных крыл” (IX, 258). Это вихрь страсти, опасность которой для героя подчеркивается эпитетом “темные”.

Символический образ птичьего крыла получает дополнительную область значений, служащих для характеристики отношений умершей матери и дочери Ельцовых. Герой пишет о Вере: «Я, помнится, спросил ее, зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери? “Ваше сравнение очень верно, – возразила она, – я бы никогда не желала выйти из-под ее крыла”» (VII, 35, 36). Образ птицы с птенцом в гнезде сопряжен здесь и с образом ангела-хранителя, оберегающего Веру от действия губительной силы любви-страсти, от соблазна. Вместе с тем не роковую ли роль играет мать в судьбе дочери, унося ее за собой в небытие все с тою же целью – уберечь ее душу от гибели? Символический мо-

тив усложняет образ, открывая читателю сразу две свои противоположные грани.

Тема власти мертвого человека над живым продолжается в рассказе “После смерти”. Клара Милич – один из самых загадочных и сложных женских образов у Тургенева. Читательское (и авторское) отношение к этому характеру так же неоднозначно, как и отношение Тургенева к женской любви.

Образ Клары строится по принципу “от загадки – к разгадке”, причем загадка разрешается уже после смерти героини. Тургенев подробно описывает ее выразительную внешность: “Лицо смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий, неподвижный, точно каменный, лоб, крошечные уши... все лицо задумчивое, почти суровое” (XIII, 85, 86), затем намеренно огрубляет ее черты в восприятии Аратова: “черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе” (XIII, 90). Ее облик – почти отталкивающий, совсем не такой представлял себе герой свою будущую возлюбленную: “нежный профиль”, “добрые, светлые глаза”, “шелковистые волосы” (XIII, 89).

Однако Тургенев так строит этот образ, что он как будто вырастает в глазах читателя в некий монолит, заключающий в себе колоссальную силу, таинственную и неодолимую (недаром автор намекает на ее сходство со статуей). “Клетка ваша мала... не по крыльям”, – заявляет Клара родным (XIII, 113). Этот непокорный, мятежный дух находит выражение в образе большой, сильной и хищной птицы или, что точнее, в образе демона. Ведущая черта ее характера – своеволие: подобно лермонтовскому Демону, она имеет мощное влияние на человека, избранного ею, и это влияние не утрачивается, а даже усиливается после ее смерти. Аратов вспоминает ее слова, сказанные о том, кого она полюбит: “Встречу – возьму” (XIII, 118). И она действительно лишила его воли, полностью подчинила себе: чувство, внушенное ею, – не включение натуры, не результат свободного выбора – герой попадает в плен, он не в силах сопротивляться ее мощной власти, ее колдовским чарам, “магнетизму”, тому, чему трудно подобрать название. Крылья в этом случае – символ могучего, своенравного духа, демонической личности, не вмещающейся в рамки, поставленные ей средой, обыденной жизнью.

В рассказе “Три встречи” символический мотив крыльев также сопряжен с женским образом. Герой, чье воображение возбуждено новой встречей с ускользающей от него загадочной красавицей, видит ее во сне. В этом сне столь влекущая его к себе женщина вдруг обретает крылья, длинные и белые, и, мчась по воздуху, манит героя за собой, но он не может оторваться от земли и напрасно простирает к ней

свои “жадные руки”. Подчеркнутая автором пространственная разделенность героя и предмета его устремлений символизирует недоступность для него, неуловимость загадочной красавицы, а то, что у нее вдруг вырастают крылья и она свободно чувствует себя в воздушной стихии, означает здесь отнесенность этого образа к области идеала, возведение его до степени некоего совершенного женского начала. Кстати, в одной из картин этого сна он называет ее Психеей.

Образ птицы, будучи традиционным в литературе и фольклоре, устойчиво ассоциируется с областью недоступного, мечты, фантазии, идеала. Это основное значение он сохраняет и в поэтике тургеневских произведений.

С образом птицы сопряжен также “сквозной” образ птичьего крыла, который тоже образует два противоположных полюса. Мотив обретения крыльев характеризует состояние душевного подъема, полноту ощущения жизни; образ перебитого крыла аналогичен мотиву прерванного полета. Это символ душевного увечья, сломанной судьбы.

Как и другие “сквозные” образы и мотивы тургеневской поэтики, символический образ птицы выражает авторскую концепцию индивидуального человеческого бытия, в особенности одну из ее граней – противостояние человека и природы, отпадение человека от природного целого. Вместе с тем, этот образ воплощает тоску Тургенева по утраченной гармонии человека с природным миром.

---

## Звездные руны Ивана Бунина

А. АБРАМЯНЦ

Есть в творчестве Бунина одна особенность: пожалуй, ни у кого из русских авторов, кроме него, не встречаются так часто описания звезд и созвездий, разве лишь Тютчев, может быть, сравним с ним по своей пристрастности к небесному своду, “сияющему славой звездной”.

Об особой любви к звездам Бунин говорит сам:

Не устану воспевать вас, звезды!  
Вечно вы таинственны и юны.  
С детских лет я робко постигаю  
Темных бездн сияющие руны.

(“Не устану воспевать вас,  
звезды...”)

В стихотворении “Ночь” он пишет:

Ищу я в этом мире сочетанья  
Прекрасного и вечного. Вдали  
Я вижу ночь: пески среди молчанья  
И звездный свет над сумраком земли.  
Как письма, мерцают в тверди синей  
Плеяды, Вега, Марс и Орион.  
Люблю я их теченье над пустыней  
И тайный смысл их царственных имен!

В произведениях Бунина встречаются не только общеизвестные Венера, Марс, Полярная Звезда, ковш Большой Медведицы и Млечный путь, но и Сириус (любимая звезда!), Арктур, Вега, Юпитер, звезда Капеллы, Волопаса, Ориона, Скорпиона, Пса, Плеяды, Канопуса, Ворона, Южный Крест...

Детство Бунина провел в глухом поместье в воронежской лесостепи, где небо широко открыто, а неторопливый уклад жизни создает условия для созерцания. Интерес к звездам возник у него с самых ранних лет. О его истоках писатель говорит в “Жизни Арсеньева”, и, видимо, мать была тем человеком, который обратил внимание к звездному небу: “Выйдешь – огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами, зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом, а она (ель. – А.А.), густая, в своем хвойном, траурном от снега облачении,

царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери” (Цит. по: Бунин И.А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1988).

Сириус станет и любимой звездой Бунина, о которой он напишет стихотворение-романс:

Где ты, звезда моя заветная,  
 Венец небесный красоты?  
 Очарованье безответное  
 Снегов и лунной высоты?  
 (“Сириус”)

Возможно, Сириус, звезда Изиды, древнеегипетской богини плодородия, особо привлекал Бунина и как символ эроса творческого.

Контраст между вечной красотой звезд и быстротечной красотой жизни земной – молодостью, любовью, приходящими на миг и уходящими навсегда, контраст между Божеским и человеческим, пронизывает острой болью стихи и прозу Бунина:

Как ныне я, мирьяды глаз следили  
 Их древний путь. И в глубине веков  
 Все, для кого они во тьме светили,  
 Исчезли в ней, как след среди песков:  
 Их было много, Нежных и любивших,  
 И девушек, и юношей, и жен,  
 Ночей и звезд, прозрачно-сереб্রивших  
 Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!  
 “Ночь”

И все же не только боль, но и дерзновенная надежда:

И быть может, я пойму вас, звезды,  
 И мечта, быть может, воплотится,  
 Что земным надеждам и печалям  
 Суждено с небесной тайной слиться!

(“Не устану воспевать вас, звезды...”)

Через образы звезд приходит чувство небесной тайны, чувство Бога. Так, в стихотворении “Бог” читаем:

Он в ветре был, в моей душе бездонной –  
 И содрогался синим блеском звезд  
 В лазури неба, чистой и огромной.

Звезды у Бунина не просто деталь пейзажа – они символ. Через них соединяются времена, пространства, божественное и земное. В них мистически-таинственный смысл, и они являются в наиболее важные, драматические моменты: любовное объяснение, последнее свидание, смерть, размышления о смысле жизни, о Боге... Часто описанием звезд рассказ заканчивается: “Танька”, “Птицы небесные”, “Кастрюк”, “Поздний час”, “Братья”, “Обуза”, “Ночь” и др. В звездах – вселенская, не постижимая человеческим разумом *связь* всего со всем: отсюда повторяющийся в разных рассказах образ хрустальных нитей, льющихся к земле (“Ночь”, “Птицы небесные”, “Море богов”). Образ противоречивый, ибо одновременно дает ощутить и *пропасть* между земным и Божеским: “Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск”.

И сразу переход на земное, как своеобразный прием контраста между земным и небесным, преходящим и вечным: “Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежноусталый склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка – вся серо-кучерявая от инея, с белыми пушистыми ресницами. И рядом – тема смерти, которая часто возникает при описании звезд: “Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит мертвое тело” (“Птицы небесные”).

В рассказе “Игнат” “над темной каймой леса поднимается большой красный Марс”, предвещая кровавую развязку – измену, убийство.

Тот же контраст между темным и космическим, сиюминутным и вечным, соизмеримым и неизмеримым – в повести “Суходол”: “А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом – и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион”. Малое и необозримое, зерна Волопаса и обычная деревенская мельница, какой-то безвестный Трошин лес и созвездие Скорпиона, озаряющее полмира.

В рассказе “Кастрюк” звезды для крестьянина – олицетворение Божьих сил: “А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребятишек, смех над коростелью, которая так скрипит, что дергает ногу об ногу, дед постлал себе у межи полубубок, зипун и с чистым сердцем, с благословением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь – светлую дорогу ко граду Иерусалиму.”

После описания разговора со стариком о собственности на землю, о смерти, автор заканчивает рассказ “Обуза” так: “Я вышел и, опять через сад, пошел на гумно, в поле. Далеко насквозь виден голый сад. Низко стоит и мистически-радостно смотрит из-за далеких вековых берез, белеющих стволами возле вала, какая-то крупная звезда”. Звезда здесь символ высшей надмирной свободы, чуждой земных забот. Оттого она и сияет так радостно – ничто земное ее не тяготит...

В “Позднем часе” герой, от лица которого ведется повествование, через много лет попадает ночью в город, где прошла его молодость. Он находит скамью, где обьяснялся в любви девушке, и вспоминает, что когда смотрел в эти мгновения на небо, то видел в нем зеленую звезду, которая “будто что-то беззвучно говорила”. В финале рассказа он находит кладбище, могилу любимой: “...передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлинненный и довольно узкий камень, возглавию к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная”. Звезда, единственная свидетельница давней любви, которой уже нет в душе героя, приобретает значение мистического символа, в котором соединяются любовь и смерть. Так образ звезды становится главным в повествовании.

Ледяной блеск звезд в рассказе “Холодная осень” предвещает расставание любящих навсегда: “Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресле, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, – мы знали какой, – и это было и трогательно и жутко. (...) Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

– Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...”

При свидетельстве звезд звучит тема любви и смерти, вновь трагический контраст, болезненный разрыв между человеческим и сверхчеловеческим (ледяной свет звезд и теплый свет окон).

Говоря о теме звезд в творчестве Бунина, конечно, нельзя не упомянуть религиозно-философский рассказ “Ночь”. Звездное небо – великолепный лирический аккомпанемент к размышлениям на протяжении всего рассказа, своеобразный резонатор, усиливающий его звучание: “Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного

молчания, предельной неподвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь {...} Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного неба, – уже много крупных предутренних звезд взошло на него. И уже совсем отвесно падает туманнозолотистый столп сияния в млечную зеркальность летаргией объятого моря...” Этот рассказ – глубокий художественный самоанализ автора, исследование недр человеческой души.

Бунин предполагает в себе существование особо выраженной наследственной памяти: “Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало в этой (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторялось во мне почти тождественно”.

В произведениях Бунина мы чувствуем одиночество человека перед лицом гигантского, загадочного Космоса, и в то же время тайную взаимосвязь, соотнесенность с ним. Исчезают сугубо национальные рамки. Звезды становятся у писателя символом человеческого всеединства, напоминанием о том, что, как сказано в рассказе “Братья”, “все люди имеют одно сердце”.

---

---

## Метафорический язык произведений В.С. Маканина

*В. Д. СЕРАФИМОВА,  
кандидат филологических наук*

В.С. Маканин – один из наиболее интересных и своеобразных современных русских писателей. Глубокое, с общечеловеческих позиций осмысление всего, что происходит в жизни, составляет нерв его прозы. Как и современные ему авторы Л. Петрушевская, Т. Толстая, В. Токарева, В. Маканин далек от злободневных политических страстей, не стеснен никакими идеологическими или эстетическими канонами, он напряженно ищет новые формы художественного воспроизведения действительности, стремясь преодолеть опасную отчужденность человека от окружающего мира. Как писатель он отличается аналитическим вниманием к “маленькому”, “усредненному” человеку, выявлением его жизненных ориентиров, поисками нравственных координат современной жизни.

Отношение человека к природе, к другому человеку, спрос с себя, нравственная состоятельность в выборе поступков, или, напротив, “убывание” человеческого в человеке, голый расчет, холуйство, цинизм, приспособленчество – вот круг наиболее общих вопросов, объединяющих Маканина с другими яркими мастерами современной прозы. Метафоры-символы писателя – “лаз”, “гражданин убегающий”, “человек свиты”, “как жить?”, как и шукшинский вопрос “что с нами происходит?”, айтматовское понятие “манкурт”, астафьевское “последний поклон”, распутинские “ниточки с узелками”, метафоры-символы Л. Петрушевской “свой круг”, “новые Робинзоны” – стали художественным кодом времени.

Основная проблематика творчества Маканина – “Можно ли считать, что человек – существо, пересоздающее жизнь? Меняет ли человек жизнь и себя? Или это существо, которое дергается туда-сюда в своих поисках потому только, что не вполне нашло свою биологическую нишу” (“Лаз”). Кредо писателя – “надо любить людей высокой любовью” (“Предтеча”).

В стилевом отношении проза Маканина характеризуется усилением лирико-субъективного начала, использованием тех форм художественной выразительности, где так легко сопрягаются, не сливаясь, реализм и условные формы изображения, тончайшие психологические нюансы и характеры, редуцированные подчас до социального

“знака”, библейский сюжет и современность. Драматизм, порой трагизм сочетаются с добродушно-юмористическим тоном повествования, подчас с гротескной заостренностью в лепке характера человека, обрисовке реалий его быта, речей, поступков.

В. Маканин – трезвый наблюдатель жизни. Его проза отразила последствия распада традиционного русского мира, глубинные конфликты нашего времени, разлад мечты и действительности, конформизм, терзания человека, обреченного губить то, что он больше всего любит, чтобы выжить любой ценой. Многие персонажи писателя живут в уродливом мире “аварийного поселка”, бараков, жизни “скопом”, “валом”. Они не укоренились, как, например, герои “деревенской” прозы или герои Ю. Трифонова, ни в городской, ни в деревенской среде с прочными жизненными традициями.

Переломным произведением писателя стал рассказ “Гражданин убегающий” (1978 г.). Здесь сталкиваются три главных героя прозы писателя – личность, общество, природа. Герой рассказа Павел Алексеевич Костюков – строитель, взрывник, первопроходец, “пробник”, осваивающий просторы Сибири, стал разрушителем. Это человек “убегающий”, убегающий от женщин, от сыновей, от сотрясаемой взрывами земли, от деревьев, взлетающих в воздух, подброшенных взрывной волной, ставший “перекати-полем”.

В рассказе проявляются характерные черты стиля Маканина, и прежде всего яркая метафоричность. Через стиль проступает и авторское отношение к изображаемому. Роль оксюморона в названии рассказа – “Гражданин убегающий”, как и в названиях “Антилидер”, “Человек свиты” – актуализирует нравственные поиски, ставит акцент на “вечных” вопросах – свободы выбора, ответственности за свой выбор. Вот емкая картина урбанистической цивилизации, добравшейся до глуши, масштабной деятельности, привносимой в мир “убегающими разрушителями”: “Поиск шел по нетронутому – землю рвали и справа и слева, обнажая пласт (...). Павел Алексеевич был в основной группе, с взрывниками, но вдруг он занервничал (...) К тому же и нервы стали сдавать: дошло до того, что он не мог слышать взрывов, не мог видеть, как взлетает елка – небольшая, молоденькая, подброшенная взрывной волной, она взлетела вместе с большим куском земли (...). Однако в тряском полете земля с травой все более сыпалась, и вот уже елочка летела с голыми корнями”. Символична и картина загнанной в тайге лошади, пытающейся высвободить “подвернутые ноги”.

Разнообразны авторские приемы создания образа Костюкова: речевая характеристика, портрет, восприятие образа другими персонажами, диалог, внутренний монолог. В рассказе Маканин выступает как мастер “говорящего” портрета. Внешний портрет героя свидетельствует об “убывании” человека, деградации. В молодости Костюмов предстает “крепким, даже и могучим”, “притягательным”. С года-

ми портрет Костюкова приобретает “волчью жестокость”, “разрушение” отпечатывается на его лице, и сам Костюков осознает свой “отрыв” от природы, смущается этим. Емкой является и деталь появившейся “хромоты”. К определению “убегающий” добавляется определение “хромой”. Как и “воришка” Комов, не раз битый разъярившимися работягами, Костюмов становится меньше плечами и телом, “ссыхается”. Самая частотная лексика в устах “совсем малословного”, “убегающего” Костюкова – “Что ж, давай сматываться”, “Связался – развяжись”, “Убегать веселее”, “Можно и здесь. Но нельзя ли подальше? Дальше, ребята... Как можно дальше”. Примечателен ответ Костюкова на вопрос вертолетчика, перевозящего его на новое место, о фамилии: “Фамилия? (...) Запиши: восемьдесят килограммов мяса”. Из уст вертолетчика прозвучит фраза, определяющая стиль поведения “разрушителей”: «Смущенный вертолетчик позвал: “Гражданин убегающий”». В восприятии других персонажей рассказа, Костюков – “подонок, умеющий вкалывать”, “перекати-поле”, “алиментщик проклятый”.

Несобственно-прямая речь выявляет состояние героя, чувствовавшего себя “пустым”, отделяющего себя от оставленных им женщин “рвом времени”. “Он, видно, и впрямь был из разрушителей. Уже давно его отделял от этих женщин ров времени – ров, полный чужести и холода, полный темной воды, и женщины тоже видели этот ров”. Преследующих его сыновей Костюков воспринимает как “стаю”, “как грехи молодости”, как “жизнерадостных вымогателей”. Брошенные сыновья тоже включаются в общую “гонку”, преследуют Костюкова “стаей” (“грехи молодости, как положено всяким грехам, шли в рост, тянулись, и вдруг, вымахав, стали кряжистыми парнями со знакомыми фигурами”). Отрыв человека от корней, от естественных связей с миром подчеркивает и письмо Павла Алексеевича к забытой и почти забытой его матери: “Опять просишь денег, но ведь нет их у меня, мать, нет. (...) Так и соседям скажи, (...) сдохну я скоро, грудь хрипит, и голова к вечеру кружится, вот-вот, думаю, грохнусь на землю”.

Определение “разрушитель” не раз встретится на страницах рассказа – в авторской характеристике Костюкова, в диалогах, во внутренних монологах героя. Сошлемся на один из таких фрагментов текста: “Порушив нехоженость, чуть обжив и наведя людей на дело, уходил, а уж люди вытаптывали вслед за ним. В этом смысле он, пожалуй, и правда год от года все больше делался разрушителем, а черты его лица все больше приобретали как бы волчью жесткость, и казалось, меж нетронутостью природы и жесткостью его лица существует ясная причинная связь. Иногда ему мерещилось, что где-то за тайгой будут холмы и поле. Когда-то давно посреди поля он видел холмы на закате – вершины краснели, как угли, а сами холмы были черны, как из черной бумаги, он хорошо это помнил”. Мотив “чер-

ных” гор и мотив “белой” горы, который появится в романе “Предтеча”, в контексте творчества писателя читается как иносказание. В. Маканина тревожат последствия агрессивного поведения человека, которое может завести в тупик.

Маканинский “усредненный человек”, “человек барака” несводим к усредненному человеческому типу, малоинтересному для художественного сознания, он обнаруживает черты индивидуальной выразительности. Такими предстают герои рассказов “Ключарев и Алимущкин” (1977 г.), “Река с быстрым течением” (1979 г.), повести “Где сходилось небо с холмами” (1984 г.).

Рассказ “Ключарев и Алимущкин”, “первый из золотоносных рассказов”, в оценке критика А. Марченко, интересен жизненной установкой героя. “Перспективный человек”, не обеспокоенный сложными духовными вопросами, оказывается в состоянии понять, что в его повседневном существовании есть нечто, выходящее за пределы упрощенного житейского толкования, и это “нечто” связано с жизнью едва знакомого ему Алимущкина, прежде “остроумного и блестящего”, теперь “погибающего”, “вялого”, “безвольного”.

Кратко, в точных и метких формулировках определяется стиль жизни Ключарева, “серединного”, “обычного” человека, ведущего “обычную жизнь”: «Ключарев был научный сотрудник, (...) математик. Семья у него была обычная и квартира обычная. И жизнь тоже, в общем, была вполне обычная – чередование светлых и темных полос приводило к некоей срединности и сумме, которую и называют “обычная жизнь”». И вот герой “обнаруживается”, он не может “праздновать праздник”, быть “отчужденным”, когда другому человеку плохо. “Мне везет, а тебе не везет... Это меня угнетает. И мешает жить”, – скажет он, придя к другому человеку, Алимущкину. Затем последует “мысленный разговор” Ключарева с Богом: “Это несправедливо (...) Получается, что счастье одному человеку выпадает за счет несчастья другого”.

“Заданность приема” в рассказе “действительно ощутима”, прежде “самый живой среди всех” Алимущкин начнет “погибать” после того как от него ушла жена (“очень красивая женщина”). В общении с другими людьми проявляется и “обнаруживается” Ключарев, мучающийся оттого, что ему “делалось все хуже”. “А может быть, сначала вы стали жить у подруги и развлекаться, а уже потом он стал погибать”, – скажет Ключарев покинувшей мужа Алимущкиной, “запившей живого человека в такую дыру” (“красавица выменяла себе милую однокомнатную квартиру, а полуспящего Алимущкина загнала в какую-то сырую комнатку”). В рассказе отчетливо проявляется своеобразие стиля писателя – через юмор, смех, в афористичной форме говорить о серьезном.

Рассказ действительно прочитывается, как притча, он развенчивает “игру в жизнь”, напоминает, что помощь должна прийти от другого человека, что “случившееся с одним может случиться с другим”, и главное – что жизнь человеческая не может “пойти под откос ни с того ни с чего”.

Важным в поэтике рассказа является образ звезды, постоянной метафоры в творчестве писателя. Звезда сопутствует в рассказе Ключареву, человеку, задумавшемуся о взаимосвязанности людей: “Стоял мороз. Над головой были звезды. Он шел, глядя вверх и думал, что звезд полным-полно, и небо огромно, и звезды эти видели и перевидели столько человеческих удач и неудач”.

Главные маканинские темы – тема контакта поколений, воспитания, идеала и действительности, тема человека и природы. Важное место в художественном мире писателя занимает рассказ “Кавказский пленный” (1995 г.). В рассказе отражены проблемы не только сегодняшней жизни – война на Кавказе – но исследуются “вечные” темы: тема свободы и несвободы выбора, ответственности за свой выбор, отношения к женщине, соучастия в зле, в целом, – тема истинных и ложных ценностей, истинной красоты. В рассказе постоянно реминисцируется фраза Достоевского – “красота спасет мир”, выделенная автором курсивом. Герой рассказа Рубахин, “отслуживший свое”, каждый раз собирающийся навсегда уехать домой (“в степь за Домом”), остается воевать на Кавказе, он хочет понять – что же, собственно, красота гор хочет ему сказать, зачем окликает: “И что здесь такого особенного? Горы?” – проговорил он вслух, с озленностью не на кого-то, а на себя (...) да и что интересного в самих горах? (...) Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: “Уже который век!”. Монолог героя очень важен в семантическом плане (“Уже который век”). Маканин обращает внимание читателя и на место “кавказской темы” в русской литературе, побуждает вспомнить и “Казаков” Л. Толстого, и “Валерика” М. Лермонтова, с болью говорит о неспособности человека жить в гармонии с собой, с естественным законом жизни, с природой, с ее красотой: “Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир, но что такое красота, оба они, в общем знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо – она пугала”.

Красота гор пугает солдат, потому что на войне они гибнут... Война изображена писателем как странная, “вялая”, страшная война, где солдаты не знают, за что воюют, а их противники в слепом фанатизме тоже не могут этого объяснить. Это война бартера, здесь меняют оружие на хлеб, пленных на пленных.

“Красота пугала” – смысл этой странной фразы расшифровывается в ходе повествования. В натуралистических красках, в сухих, емких фразах изображена смерть русского паренька, ефрейтора Бояркова,

любившего музыку, любившего уединяться, лежа где-нибудь в обнимку со своим стареньким транзистором. Тело Бояркова обнаруживают Рубахин и его друг Вовка-стрелок. Краткими, точными фразами описывается и смерть пленного чеченца, “очень красивого юноши”. “Юноша не сопротивлялся Рубахину. (...) И как же расширились его глаза, пытавшиеся в испуге обойти глаза Рубахина и – через воздух и небо – увидеть своих! Он открыл рот, но ведь не кричал. (...) Той рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил, красота не успела спасти”.

Повесть “Лаз” (1991 г.) явилась откликом писателя на перелом в русской жизни на рубеже 80–90-х годов. В современном литературоведении эта повесть В. Маканина рассматривается как “художественный код времени”, как “не отдельная вещичка, (...) а заключительная глава огромного пунктирного эпического романа-хроники, объявше-го необъятное быстрое течение русского полувека от дней войны до дней свободы” (Марченко А. Гексагональная решетка для мистера Букера // Новый мир. 1993. № 9. С. 238). В повести автор использует условные формы изображения, создает экспериментальную обстановку, две симметричные вселенные, соединенные узким проходом, лазом, секрет которого знает лишь герой – сорокасемилетний “книго-чей”, интеллигент в “лыжной шапочке”.

В верхнем мире правит толпа, она подчинена слепому инстинкту, символизирует апокалиптического зверя, внушает страх. Толпа творит произвол, загоняет отдельного человека в стадо (“Толпа затоптала парнишку”, “в толпе погибло две сотни народу”). Улицы не освещены (“пустые”, “вымершие”). Слышен плач ребенка. “Лица в толпе жестки, угрюмы. Монолита нет – внутри себя толпа разная, и все это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее повышенной внушаемостью. Лица вокруг белы от гнева, от злобы. (...) Люди теснимы, и они же – теснят”.

Обобщающим символом унижения человека становится “активный вор”, “сидящий верхом на жертве и роющийся в ее карманах”. В описании жизни наверху господствуют мрачные тона – холод, темень, кончается вода. Люди в страхе, интеллектуалы строят пещеру под землей.

Вторая данность – нижний мир, где много света, пищи, но маловато кислорода, здесь тоже невозможно жить, герой с трудом через постоянно суживающийся лаз (“дыра стала уже”, “как стиснулась горловина лаза”) проникает сюда (“повторяя тактику переползающих препятствие червей”), томимый “духовной жадой”, чтобы пообщаться с товарищами по духу, взывающими к культуре. В текст вкрапливаются реминисценции из Достоевского, Платонова, Библии: “Возобновляется их разговор (о Достоевском, о нежелании счастья, основанного на несчастье других, хотя бы и малом (...)), и душа Ключарева прикипает

к их высоким словам. Они говорят. Сферы духа привычно смыкаются над столиком (...) Ключарев слышит присутствие Слова. Как рыба, вновь попавшая в воду, он оживает: за этим и спускался”).

В повести Маканин упоминает множество бытовых подробностей, создающих в конкретном единстве образ времени. Это время безжалостно, прагматично, но отдельные люди, несмотря ни на что, стараются вести себя в соответствии с нормами морали, нравственности. Стиль писателя становится сухим, характеризуется отсутствием патетических оценок, интонационного нажима. Герой пытается пробиться к человеческому сознанию, ищет слова, которые разделят толпу на людей, но толпа произносит лишь нечленораздельные звуки: “Звуки ударные и звуки вразяг, сливающиеся в единый скрежет и шорох: толпа”.

Финал повести – открытый, обнадеживающий. Герой отвергает страшный сон как “недоверие к разуму”. Во сне Ключарев, уснувший прямо на улице, шлет информацию через суживающийся лаз о том, что наступает темнота, просит свечи, но вместо свечи, “ответа душе”, ему через лаз пересылают “палки для слепых” (“Когда наступит полная тьма, идти и идти, обстукивая палкой тротуары”). Герой отрицает вторую версию, вынесенную в проблематике повести, заявленную вначале. Сон в оценке Ключарева, когда он проснется, “ужасный (...) и несправедливый (...) в своем недоверии к разуму”. Обобщенным символом утверждения человеческого в человеке является встреча Ключарева с “Добрым человеком в сумерках”: “Он и разбудил Ключарева, этот прохожий. (...) Средних лет, с довольно длинными волосами, свободно падающими почти до плеч”. Человек протягивает руку. «Вставайте, – повторяет он с терпеливой улыбкой. Рука теплая, прикосновение, которое остается с Ключаревым и после. Ключарев встает. – Да, – говорит он, потягиваясь. – Как стемнело. Но еще не ночь, – говорит тот человек, опять же с мягкой улыбкой, которую Ключарев не столько видит, сколько угадывает в полутьме». Облик прохожего напоминает облик Иисуса Христа, “белое домино”, каким он предстает на страницах романа А. Белого “Петербург”.

Название “Лаз” расшифровывается в пространстве повести как многозначная метафора, как душа, как поиск человеком пути к другому человеку.

Сошлемся на фрагмент текста, где герой пытается “задействовать ресурсы личности”: “Они говорят искренно и с болью за человеческий (такой скромный) итог. Высокие их слова неточны и звучат, не убеждая, но с надеждой, что даже приблизительность искренних слов раскроет душу – *лаз в нашей душе*” (курсив наш. – В.С.). На новом витке русской литературы Маканин актуализирует платоновские максимы: “Действуй, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо (...) ты на земле не посторонний прохожий”; “Все возможно, и удается все, но главное – сеять души в людях”.

В повести “Стол, покрытый сукном и с графином посередине” (1993 г.) исследуется сквозная тема маканинского творчества – тема манипулирования сознанием. Здесь ощутим принцип “наложения”, совпадений, просвечиваний одного сюжета сквозь другой, характерный для творчества писателя. Дальнейшее развитие в повести получают социальные характеристики, появившиеся в “Лазе” (“несколько человек комиссии”, которые “убеждают входящих дядей верить, объясняют, настаивают, чуть ли не всовывая билеты им в карман”; безымянный “один из комиссии”, превратившийся “на глазах в оратора”).

В повести действующими лицами являются “Социально яростный” (“в быту он добр, носит фамилию Аникеев, обычен”), “Секретарствующий Молодой Волк”, “Секретарь-протоколист”, “Бывший партиец”, “Партиец” и др. Они на общественных началах ведут судилище, и подсудимый ощущает полную зависимость от чуждых ему людей, навязывающих ему свою волю превратить человека в “фигуру”, в управляемый винтик. Так, *партиец* вступает в разговор “от лица людей”, если “вдруг случается недожим”, с “нажимом и властно” (“Мы же не судьи – мы хотим *помочь*. (...) Мы хотим узнать ход ваших мыслей”). За столом ведется не дружеская беседа, не слышится “присутствие Слова” (переклички с повестью “Лаз”). «Комиссия пытается “уловить” протуберанцы вашего недовольства». “Графин на столе” разделяет “обычного человека” и “спрашивающих” (“заставляя тебя их признать и испытывать волнение”).

Явно метафорический язык Маканина несет большую смысловую нагрузку. Маканин рассматривает данную ситуацию как архетипическую для человека, испытывающего в течение веков метафизическое давление коллективного ума.

Проза В. Маканина является жизнеутверждающей. Она не порывает с конкретным измерением человеческой судьбы в поисках смысла жизни, ответственности личности за свой выбор.

## ПЕРЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА

Н. В. ЧЕРНИКОВА,

кандидат филологических наук

В журнале “Русская речь” (2000. № 6) была опубликована статья Г.А. Заварзиной “Без идеологических наслоений (Общественно-политическая лексика на исходе XX века)”, в которой рассмотрены слова, ранее обозначавшие реалии зарубежной или дореволюционной действительности. А в новейшее время они стали активно употребляться и в применении к понятиям современной российской жизни (например, *безработица, бастовать, дума, губернатор* и др.).

Переориентированная лексика главным образом затрагивает сферу экономической жизни современной России, потому что именно здесь возникает острая потребность в обозначении многих новых для общества явлений, связанных с рыночной экономикой и давно имеющей свою номинацию за рубежом. Прежде всего необходимо выделить ключевые понятия рыночной экономики – *бизнес* и *предпринимательство*. Толковые словари русского языка старшего поколения сохранили идеологическую оценку данных слов, отражающую неприемлемость подобных явлений в экономике советского государства. Слово *бизнес* в “Словаре русского языка” в 4-х т. под ред. А.П. Евгеньевой (1981–1984, далее МАС) толкуется как “деловое предприятие, ловкая афера и т.п. как источник личного обогащения, наживы” с пометой *разговорное*. А слово *предпринимательство* – как “деятельность предпринимателя; склонность к устройству выгодных предприятий, к аферам” с пометой *неодобрительное*.

Однако в перестроечное время именно с предпринимательской деятельностью, с развитием большого бизнеса были связаны надежды на оздоровление разрушенной экономики: “Именно районные Советы должны обеспечить деятельную поддержку нарождающемуся государственному, кооперативному и частному бизнесу” (Ленингр. правда. 1990. 22 авг.). Изменение идеологии повлекло за собой иное отношение к бизнесу и предпринимательству как типичным явлениям рыночной экономики. И уже в “Толковом словаре русского языка конца XX в. Языковые изменения” под ред. Г.Н. Складчиковой (1998, далее Толковый словарь конца XX в.) слово *бизнес* лишено прежней, отрицательной, оценки: “предпринимательская деятельность, связанная с коммерцией, производством и реализацией товаров, оказанием услуг населению и т.п.”

Изменилось отношение и к производным словам *бизнесмен* и *предприниматель*. Если в МАС слово *предприниматель* отмечено с двумя значениями: 1) “капиталист, владелец промышленного, торгового и т.п. предприятия”; 2) (*неодобр.*) “делец, ловкий организатор выгодных предприятий”, то в последнее десятилетие деятельность настоящих предпринимателей рассматривается как позитивная активность инициативных, энергичных людей. Например: “Предприниматель (частное лицо или коллектив) – это совершенно новый тип организатора хозяйства. Он динамичен, находится в постоянном поиске. Он ищет сферу приложения своих сил и средств, не забывая о должном уровне технической оснащенности производства, необходимости внедрения новых форм его организации” (Комс. правда. 1990. 20 сент.).

Подобную “реабилитацию” пережили и многие другие слова, обозначающие естественные явления рыночной экономики. Например, *коммерция*, *конкуренция*. Так, существительное *конкуренция* в МАС объясняется как “борьба между капиталистами за обеспечение наивысшей прибыли при капитализме”. В новейших словарях в толковании слова не содержится указания на жесткую привязанность данного явления к капиталистическому строю. Например, в “Толковом словаре конца XX в.” *конкуренция* – это “соперничество между производителями товаров и услуг за лучшие, экономически более выгодные условия производства и реализации продукции”. С положительной оценкой нередко употребляется это слово в публицистических текстах: “Конкуренция – это огромный движущий механизм. И одна из важных задач в экономике – это развитие конкуренции, предпринимательства, риска. Для этого мы и должны развивать рынок, создавать стабильные законы. История показывает, что те культуры, которые отказались от конкуренции, деградировали, даже если у них были очень хорошие начальные условия” (Правда. 1991. 7 февр.).

Реорганизация политической структуры государственного и местного управления, рыночная система хозяйствования способствовали изменениям в социальной и образовательной сферах, культурной и бытовой жизни общества. На формирование социально-культурного национального фонда в перестроечное и постперестроечное время серьезное воздействие оказывают реалии зарубежной жизни. Это выражается в заимствовании разнообразных понятий и сопровождается переориентацией лексических единиц, их называющих. В некоторых сферах российской жизни наблюдается возвращение отдельных социальных, культурных и других явлений из дореволюционного прошлого России, а следовательно, возвращаются и их названия. Рассмотрим некоторые примеры подобных актуализированных лексических единиц.

Прежде всего это слова, определяющие социальное положение в обществе, отношение к собственности, образ жизни и деятельности.

Современное российское общество постепенно привыкает к понятиям *аристократия* и *дворянство*, унаследованным от дореволюционной России. Наиболее интересно с точки зрения современного речевого употребления существительное *бомонд*. В МАС это слово отсутствует. А в “Словаре современного русского литературного языка” в 17-ти т. (1950–1965, далее БАС) оно зафиксировано в следующем значении: “верхушка буржуазного общества, высший свет” с пометой “дореволюционное”. В последние десятилетия XX века слово вернулось из пассивного словаря в активный и стало употребляться в значении “особо важные персоны” (*политический бомонд*, *театральный бомонд* и т.п.).

Однако чаще всего данное слово встречается с ироническим оттенком, о чем свидетельствуют газетные примеры: «На презентацию школы русского языка “Репетитор” пришли директора московских школ и вездесущий бомонд – писатели, поэты, журналисты» (Комс. правда. 1993. 11 сент.); «Кинематографический бомонд не только любовался собой, но и собрал силы, чтобы аплодировать тем, кого кинокомпания “Кинотавр” назвала лучшим в ушедшем году» (Комс. правда. 1994. 15 февр.). Пренебрежительно-иронический оттенок, с которым употреблено слово *бомонд* в этих контекстах, свидетельствует об изменении в слове оценочной окраски. По-видимому, современный бомонд определяется иными критериями по сравнению с дореволюционным. Отсюда ирония, которая усиливается в первом примере эпитетом *вездесущий*, т.е. “всюду поспевающий, во всем принимающий участие (обычно *шутливо* или *иронически*)” (БАС).

Семантико-оценочное переосмысление пережили существительные *обыватель* и *чиновник*. БАС отмечает у слова *обыватель* два значения: 1) (*устар.*) “постоянный житель какой-либо местности”; 2) “человек, лишенный общественного кругозора, с косными мещанскими взглядами, живущий мелкими, личными интересами”. Именно во втором значении, с отрицательной оценкой существительное *обыватель* употреблялось в советское время. Например, в романе В.Н. Ажаева “Далеко от Москвы” читаем: “Мы, советские люди, не стремимся к легкой жизни обывателей, думающих только о собственном благополучии. Мы – за трудную жизнь во имя светлого будущего”. Данное значение слова стало производным для абстрактного существительного *обывательщина* с ярко отрицательной (презрительной) оценкой. В БАС находим: *обывательщина* – “отсутствие общественного кругозора, узость интересов, косность”.

Современная публицистика, устная речь свидетельствуют об активизации существительного *обыватель* с новым оттенком значения и изменением его оценочного статуса: «Как-то я позвонил в “Газпром” и спросил, не знают ли они, где мои ваучеры... Я, как наивный обыватель, думал, что не придется долго бегать за тем, что уже оплачено

сполна теми самыми ваучерами... Уже зима на дворе. Денег нет, как и акций и ваучеров. Я не сильно расстраиваюсь. Я никуда не пойду искать правды. Как терпеливый обыватель я буду ждать» (Комс. правда. 1996. 2 дек.). В данном контексте слово *обыватель* употреблено в своем традиционном значении – “житель”. Здесь явно чувствуется уже не презрительная, а шутливо-ироническая оценка, усиленная контекстным окружением слова – эпитетами *наивный* и *терпеливый*.

“Издержки” общественного развития, непомерное увеличение аппарата управления как реалии перестроечной действительности обусловили возвращение из языка дореволюционной России существительного *чиновник*. В БАС оно толкуется так: 1) “человек, состоящий в каком-нибудь чине на государственной службе (в дореволюционной России и за границей)”; 2) (*перен.*) “человек, ограничивающийся в каком-нибудь деле формальным выполнением своих обязанностей”. Современное речевое употребление слова в значении “государственный служащий” с нейтральной оценкой встречается нечасто, например: “Информация по-прежнему находится в руках аппарата, т.е. грамотных чиновников, молодых и старых, прогрессивных и консервативных – самых разных, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы она влияла на лиц, принимающих решения нужным аппаратом образом” (Культура. 1993. 11 нояб.).

Гораздо чаще употребляется существительное *чиновник* в диффузно-значении, т.е. совмещаая в своей семантической структуре оба лексико-семантических варианта – прямое и переносное значения: “государственный служащий” + “равнодушный, корыстный работник, бюрократ”. Например: “Уже сейчас отдельным финансово-промышленным группам криминального оттенка по силам купить корыстного чиновника, в том числе и руководящего, в том числе и в спецслужбах” (АиФ. 1996. № 3); “Чиновника, как показывает практика, почти всегда можно купить. Для этого потребуется лишь тоненький ручеек от реки рекламных денег” (АиФ. 1999. № 19).

К переориентированной лексике относятся и наименования учебных заведений, не существовавших в советское время и появившихся на волнах перестройки. Это *гимназия*, *лицей* и *колледж*. Первые два были известны в дореволюционной России. МАС так определяет семантику данных слов: *гимназия* – “В дореволюционной России и некоторых зарубежных странах: среднее общеобразовательное учебное заведение”; *лицей* – 1) “привилегированное мужское среднее или высшее учебное заведение в дореволюционной России”, 2) “среднее учебное заведение во Франции и некоторых других странах”; *колледж* – “высшее или среднее учебное заведение в Англии, США и некоторых других странах”.

В современном российском образовании названные учебные заведения представляют собой школы (училища, техникумы) нового типа:

либо с углубленным изучением ряда предметов гуманитарного цикла (*гимназия*, иногда *лицей*), либо с практическим уклоном (*колледж*, иногда также *лицей*). Данные учебные заведения нового типа предполагают нестандартность процесса обучения, нетрадиционные методики преподавания, наличие высококвалифицированных преподавателей. Иногда колледжи, гимназии, лицеи отмечены ореолом престижности, призваны выполнять социальный заказ на элитарное образование. Например: “По новому документу разрешается создавать школы не только государственными органами власти, но и частными лицами. Фактически это будут закрытые престижные школы-гимназии и школы-лицей, созданные по типу закрытых элитарных школ” (Моск. комс. 1995. 5 июля).

С социалингвистической стороны описываемых явлений связаны изменения в сфере обращения, а также принятых форм упоминания о человеке. Обращение к собеседнику – самая употребительная языковая единица. Установление речевого контакта, регулирование социальных взаимоотношений – это важные общественные функции обращения, поэтому их употребление всегда находится в зоне пристального социального и лингвистического внимания. Как известно, российское общество отказалось от официально принятого в советской стране обращения *товарищ*. К сожалению, в настоящее время в нашем этикете отсутствует официальная форма обращения (а также упоминания). Однако постепенно в речевой обиход из дореволюционного прошлого России возвращаются, казалось, давно забытые *господин*, *госпожа*, *дама*.

Не употребляясь в советское время как элемент буржуазно-дворянского речевого этикета, слово *господин*, однако, сохраняло свой официальный статус обращения по отношению к иностранным гражданам в сфере дипломатического и делового общения. Подтверждение этому находим у А.М. Селищева: “*Господин*. Это слово употребляется коммунистическими деятелями в ироническом значении по отношению к своим противникам... Однако в языке дипломатических сношений сохраняет свое прежнее значение слово *господин*” (Селищев А.М. Язык революционной эпохи. М., 1928).

Речевая практика последних лет показывает, что существительное *господин* (*господа*) чаще используется как обращение (или упоминание) в официальной обстановке по отношению к лицам, облеченным высшей государственной властью или занимающимся крупным бизнесом. Приведем несколько примеров из публицистических текстов: “Идея такого подобия конфедерации принадлежит президенту Казахстана господину Назарбаеву...” (Смена. 1994. 8 июля); «По “молодости” господа бизнесмены закупают технику у отечественных фирм. Но быстро поняли абсурдность поставок IBM из, предположим, Рязани» (Деловой Петербург. 1998. 17 января). Кроме того, встречается упо-

требление обращения *господин* с ироническим оттенком: “Очередь – это феномен, они неистребимы. Почти исчезли очереди в магазинах, но что это? За чем стоим, товарищи? То есть, господа, я хотел сказать... За валютой. За жетонами в метро. За акциями любимого АО” (АиФ. 1995. № 8); “Уважаемые господа воры! Не забирайтесь, пожалуйста, в этот дом. Здесь уже побывали ваши товарищи и унесли все, что только смогли” (Комс. правда. 1995. 25 окт.).

Реже в качестве обращения встречаются существительные *дама* и *госпожа*. Слово *дамы* обычно используется в традиционном обращении *Дамы и господа!* в особо торжественной обстановке на собраниях, официальных приемах, презентациях, концертах и т.п. Иногда *дама* употребляется для указания на принадлежность к женскому полу. Например: “Договорились до смешного. Одна дама-депутат заявила, что общалась вчера с организациями ветеранов: и те, дескать, попросили передать, что они очень удовлетворены Указом Президента и просили нас продлить срок полномочий еще на два года” (Рекламный вестник. 1996. № 38).

Таким образом, современная речевая активность существительных *господин* (обращение, упоминание), *дама* (упоминание) констатирует отсутствие в их значениях указания на принадлежность к капиталистической действительности.

Итак, на рубеже веков в русском языке наблюдается переориентация и актуализация лексических единиц различных тематических сфер, которые прежде относились к пассивному фонду словаря, так как называли реалии дореволюционной или зарубежной действительности. Семантика данных слов в настоящее время освободилась от присущей им ранее негативной оценки, вызванной идеологией советского времени. Изменение общественного сознания в перестроечное и постперестроечное время обусловило “деидеологизацию” данных лексических единиц. Все эти процессы – переориентация, актуализация, “деидеологизация” слов – являются формами языковой динамики и во многом зависят от восприятия обществом объективно существующих реалий современной жизни.

Мичуринск



## Россия в метафорическом зеркале\*

*А. П. ЧУДИНОВ,  
доктор филологических наук*

### V.

Метафорическая модель “Жизнь – это театр” широко распространена в самых различных сферах общения. Еще герой В. Шекспира восклицал: “Весь мир – театр. / В нем женщины, мужчины – все актеры. / У них свои есть выходы, уходы, / И каждый не одну играет роль” (монолог Жака; комедия “Как вам это понравится”).

Театральная метафора используется в политической речи многих стран, однако, в России конца XX века эта модель превратилась в господствующую.

В соответствии с рассматриваемой моделью в последнее десятилетие прошлого века на политической сцене по заранее разработанным сценариям и под руководством опытных режиссеров разыгрывались комедии, трагедии и фарсы, в которых играли свои роли актеры (иногда по подсказке суфлеров). Особое внимание зрителей привлекали иностранные гастролеры. Иногда восторг у публики вызывали и провинциальные артисты (например, из Ставрополя, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода), исполнявшие главные партии в “Большом театре”.

Прагматический потенциал этой метафорической модели определяется ярким концептуальным вектором неискренности, искусствен-

\* См.: Русская речь. 2001. №№ 3, 4; 2002. № 1.

ности, ненатуральности, имитации реальности: субъекты политической деятельности не живут подлинной жизнью, а вопреки своей воле исполняют чьи-то предначертания.

Выделим основные проявления метафорической модели “Политическая жизнь – это театр”.

### 1. “Вид зрелища и жанр представления”.

Российская политическая жизнь последнего десятилетия часто метафорически характеризуется как та или иная разновидность зрелищных искусств. Соответственно выделяются понятия “театр”, “цирк”, “кино”, “балаган”, “эстрада”, “концерт”:

“Хочу, чтобы Дума стала скучной, а то в последнее время она все больше похожа на *театр*. Впрочем, разве одна Дума напоминает *театр*? Вся наша политическая жизнь *театр*” (С. Панкевич); “Деятельность совета все чаще проходила в стиле политического *балагана*” (И. Васильев); “У нас политика, конечно, похожа на *цирк*, но не всем же быть клоунами” (Г. Явлинский); “Отказ вовремя платить долги Парижскому клубу – это *театр*, это *цирк*, это *балаган*” (А. Илларионов).

Типовые прагматические смыслы подобных метафор – излишняя яркость, помпезность, оторванность от жизни, малоэффективность деятельности политических институтов и организаций.

Для обозначения политических событий в современной России регулярно используются и названия отдельных жанров: *детектив*, *драма*, *карнавал*, *комедия*, *мыльная опера*, *оперетта*, *сериал*, *спектакль*, *трагикомедия*, *триллер*, *фарс*, *шоу* и т.п. “Жизнь в “Программе новостей” И. Шеремета выглядит *карнавалом*, где смешивались *трагедия*, *комедия*, *драма*” (М. Иванов); “Перестроечный *фарс* приближается к своей кульминации” (В. Новодворская); “Жириновский – это всегда *канкан*” (А. Слономирова); “Десять дней до выборов. Предвыборный *спектакль* – в полном разгаре. Продолжается действие, жанр которого трудно поддается определению: *комедия*, *трагедия*, *драма*, *фарс*, *трагикомедия* – все смешалось на сцене” (Д. Никаноров).

Уже само наименование зрелища и его жанра определяет формирование эмотивных смыслов: события и их герои оцениваются в соответствии с традицией жанра.

### 2. “Люди театра”.

Политические актеры играют роли, танцуют и подтанцовывают, исполняют арии и подпевают, показывают фокусы, жонглируют и совершают множество других действий с целью достигнуть необходимо-го эффекта:

“*Артисты*, то есть кандидаты всех мастей, сбиваются в труппы, ездят по всей стране, *гастролируют*” (С. Образцов); “Березовский не так прост, чтобы вот так, за здорово живешь, выставлял себя политическим *клоуном*” (А. Теплюк); “Отстранение от эфира С. Доренко

стало потрясением для отечественной телеаудитории. Однако, лишившись любимой мыльной оперы, зрители взамен получили дивное пропагандистское шоу в исполнении того же *лицедея*” (М. Рязанцев); “Россель с Рахимовым решили *дуэтом* помолчать именно после казуса, случившегося с курским губернатором Александром Руцким” (В. Смелов).

Подобная метафора в абсолютном большинстве случаев несет негативные эмоции. Это относится не только к словам, обозначающим роли “второго плана” (статисты, хор, массовка), но и к обозначениям ведущих актеров. В сознании масс политик должен быть героем, а не играть роль героя. Всякая “неестественность” изначально вредит имиджу политического деятеля.

В политической деятельности часто различаются организаторы и исполнители тех или иных действий. Для обозначения вдохновителей и разработчиков политических кампаний с учетом специфической роли каждого из них метафорически используется театральная терминология: *дирижер, кукловод, постановщик, продюсер, режиссер, сценарист, суфлер* и др.

К этому же ряду, по-видимому, относятся обозначения процесса подготовки спектакля: генеральная репетиция, премьера, прогон, распределение ролей и т.п. Как известно, важные политические события готовятся еще более тщательно, чем спектакль, а поэтому политический язык нуждается в номинации этапов такой подготовки и заимствует их в мире зрелищ:

“Ситуация накануне выбора екатеринбургского градоначальника мучительно напоминает драму, у которой есть *сценарист* и закулисный *режиссер*” (Д. Табашников); “Такой президент может показаться опасным для влиятельных западных кругов, уже составивших свой *сценарий* развития России” (С. Анохин); «ЛДПР и “Яблоко”... рассматривают выборы в областное законодательное собрание как *репетицию* президентских выборов» (А. Перцев).

3. “Публика и прием, оказываемый спектаклю”.

Как известно, для каждого спектакля (и всех, кто его готовил) существует “судный день” – премьера. Зритель дает оценку работе, и мало кого может утешить случайность или несправедливость этой оценки, которая надолго определяет творческую судьбу актеров. Для политиков (в том числе политических продюсеров, режиссеров, дирижеров и первых скрипок) таким “судным днем” являются выборы. Поэтому вполне закономерно, что театральные термины соответствующей группы (*зрители, публика, провал* и даже *клака*) активно используются в политической лексике: “Всероссийское шоу, или Выборы-96, в разгаре. *Зритель*, то есть мы, аплодирует, хохочет, смеется. И с изумлением передает друг другу фразы и словечки, звучащие из уст актеров” (Д. Никаноров); “Для большинства партий преодоление

пятипроцентного барьера – это грандиозный успех, но для ЛДПР это просто фиаско. Такого провала у Владимира Вольфовича еще не случалось” (А. Перцев).

#### 4. “Элементы представления”.

Политическая деятельность, как и зрелищное представление, состоит из отдельных этапов, частей, эпизодов. Для их обозначения метафорически используется соответствующая театральная лексика: *акт, антракт, выход на бис, выход на поклон, действие, картина, кульминация, пролог, реплика, реприза, сцена, трюк, увертюра, эпилог* и др. “Работа совета украшалась в основном сценами шинкования работающих на благо народа руководителей” (И. Васильев); “В работе Государственной Думы объявлен последний *антракт*, действие немолимо приближается к *эпилогу*, и депутаты все чаще вспоминают о своих избирателях” (Н. Коротков).

Детальное и всем хорошо известное структурирование понятийной сферы “театр” часто помогает журналистам найти подходящее метафорическое обозначение для политических реалий.

#### 5. “Театральный реквизит”.

Слова, обозначающие театральный и иной реквизит (*бутафория, грим, декорация, занавес, костюм, маски, парик, “фанера”* и др.), в политической речи часто используются при характеристике действий политиков, скрывающих свои подлинные дела при помощи высоких слов и красивых поз: “А сколько *бутафорских* фигур для отвлечения внимания от действительных претендентов можно включить в избирательный бюллетень” (А. Выборнов); “Из крови и хаоса проступает уже без лицемерных *масок* лик новой диктатуры” (С. Ваганов); “Когда кандидаты станут депутатами, они снимут политический *грим*...” (А. Туев).

#### 6. “Театральное здание”.

Современные политики часто планируют события из-за кулис, но при необходимости выходят на политическую сцену или арену, ждут поддержки и от партера, и от галерки, при необходимости наведываются в ложи. Они знают, что театр начинается с вешалки и умело подготовленной красочной программы: “Сегодня и ежедневно на *арене* нашего политического цирка непревзойденная команда клоунов” (А. Демидов); «В скандале с “Медиа-Мостом”... все решают за кулисами, Газпром не свободен в своих действиях» (Ю. Скуратов).

Отметим, что в этих фразах, как и во многих других, театральная метафора выступает не как отдельное словоупотребление, а как целый комплекс, компоненты которого способствуют более яркому восприятию друг друга. Нередко театральная метафора становится основным выразительным средством для всего политического текста.

Рассмотрим некоторые причины широкой распространенности театральной метафоры (условно отнесем к этой группе также цирково-

вую, эстрадную, кинематографическую и иные подобные метафоры) в современной политической речи.

Во-первых, демократизация общества действительно внесла черты театральности в политическую жизнь, публичная сторона которой ранее была абсолютно ритуальной. В советскую эпоху официальные заседания органов государственной власти просто не могли напоминать ни драму, ни комедию, ни эстрадное шоу.

Во-вторых, активизация модели связана с особой ролью в подобной метафоре концептуальных векторов притворства и внешней моделируемости происходящих событий, что, несомненно, соответствует представлениям значительной части общества о политической истории последнего десятилетия прошедшего века. Театр как сфера-источник создает великолепные условия для реализации эмоционального заряда метафоры.

В-третьих, важно отметить высокую структурированность театрального мира как исходной сферы для метафоры, достаточно объемное представление большинства носителей языка об этой структурированности и, наконец, их естественный интерес к зрелищным искусствам. Эти искусства, как и литература, традиционно служат в нашей стране “учебником жизни”: и важнейшим источником информации, и примером для подражания, и нравственным ориентиром. Поэтому “зрелищная метафора” обычно хорошо воспринимается адресатом.

*Екатеринбург*

## Двойной – двойственный – двойкий

В. И. КРАСНЫХ,

кандидат филологических наук

Рассматриваемые паронимы существуют в русском языке с давних времен и впервые зафиксированы в толковых словарях в XVIII веке. Наиболее употребительным среди них является прилагательное *двойной*. За минувшие века произошли, естественно, весьма существенные сдвиги в его семантике и многократно расширился круг его лексической сочетаемости с существительными. Современные толковые словари выделяют у этого слова, как правило, три значения, отмечая при этом и некоторые лексические оттенки. Нам представляется более целесообразным выделить следующие четыре значения:

1. Вдвое больший, увеличенный в два раза; удвоенный.
2. Состоящий из двух однородных или подобных частей, предметов.
3. Проявляющийся в двух видах, формах, заключающий в себе две стороны; двойкий.
4. Неискренний, двуличный, лицемерный.

В круг отвлеченных существительных, сочетающихся с этим паронимом в первом значении, входят прежде всего такие слова: *работа, цена, плата, такса, зарплата, ставка* (при налогообложении), а также в азартных играх), *размер, норма, порция чего-л., доза чего-л., штраф, ответственность, нагрузка, налогообложение, накрутка (разг.), убийство, перелом, прыжок, поворот, кульбит, сальто* и т.д. Вместе с прилагательными и соответствующими глаголами они образуют, в частности, следующие широко употребительные глагольно-именные словосочетания: *выполнять двойную работу, заплатить двойную цену, получать двойную зарплату, съесть двойную порцию чего-л., принять двойную дозу чего-л., заплатить двойной штраф, выполнить двойную норму, нести за что-л. двойную ответственность, справляться с двойной нагрузкой, избежать двойного налогообложения, совершить двойное убийство, получить двойной перелом, выполнить двойное сальто, совершить двойной прыжок* и др. Приведем ряд примеров из современной художественной литературы и периодики:

“Правительство Москвы получит в бюджет с одного литра топлива налог в двойном размере” (Известия. 1997. 27 дек.); “Женщина несет двойную нагрузку – дома и на работе (часто нелюбимой)” (Домашний очаг. 1999. Май); “Договоренности предусматривают освобожде-

ние граждан от двойного налогообложения” (Известия. 1994. 28 мая); “Двойное убийство было совершено вчера в Раменском районе Подмосковья” (Метро. 2000. 2 марта); “Денис сломал ногу, у него был какой-то сложный двойной перелом” (П. Дашкова. Никто не заплачет); “Со временем он (Николай) начал вкладывать свободные деньги в ходовой товар, который он, не спеша, реализовывал с двойной накруткой через розницу” (М. Анисов. Злополучное наследство).

Во втором значении прилагательное *двойной* сочетается, в основном, с конкретными существительными: *двери, рамы, стены, шторы, портьеры, обшивка* (корпуса судна), *пленка, номер, забор, ограждение, барьер, замок, узел, шов, зеркало, имя, фамилия* и др. Например:

“Часть дома он (Кавашима) снабдил двойными стенами, куда упрятал лестницы...” (Ю. Нагибин. Таинственный дом); “Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы” (А. Чехов. Архиерей); “Утечки не произошло благодаря двойной обшивке корпуса судна и вязкому дну” (Сегодня. 1994. 23 июня); “Катя замужем, и у нее двойная фамилия” (В. Каверин. Два капитана); “Промышленность выпускает двойную пленку, ее можно приспособить, но где взять деньги, все упирается в деньги” (Л. Петрушевская. Гигиена).

Интересно отметить, что некоторые толковые словари (в частности, МАС и Большой толковый словарь под ред. С. Кузнецова) в качестве оттенка этого значения отмечают следующий: “Направленный на два предмета, в два места или с двух сторон, из двух мест” (*двойной удар, свет, шах*). Однако БАС-2 этого оттенка значения не выделяет, а рассматривает указанные словосочетания (также *двойное дно, двойной подбородок* и *двойные звезды*) как устойчивые, и это нам представляется вполне обоснованным.

Применительно к третьему значению с прилагательным *двойной* употребляются следующие отвлеченные существительные: *смысл, цель, задача, польза, выгода, радость, огорчение, победа, поражение, наказание, препятствие, оценка, праздник, юбилей, гражданство, назначение* (при использовании, применении чего-л.), *действие* (о машинах, механизмах), *принцип* и некоторые другие. Эти существительные вместе с прилагательным *двойной* входят в состав ряда типичных глагольно-именных словосочетаний: *иметь двойной смысл, ставить двойную задачу, преследовать двойную цель, получать двойную выгоду, приносить двойную пользу, испытывать двойную радость, испытывать двойное огорчение, одержать двойную победу, потерпеть двойное поражение, преодолеть двойное препятствие, подвергнуть кого-л. двойному наказанию, выставлять двойную оценку, отмечать двойной праздник, праздновать двойной юбилей, обладать двойным гражданством* и т.д. Проиллюстрируем сказанное цитатами из современной художественной литературы и периодики:

“Не стоит усложнять себе задачу, *делать ее двойной*” (Б. Акунин. Декоратор); “Настя преследовала *двойную цель*” (А. Маринина. Стечение обстоятельств); “Так что с апреля молдаване получат *двойную выгоду*” (Мир за неделю. 1999. 25 дек.); “У любителей попсы и мыльной оперы нынче *двойной праздник*” (Комс. правда. 1997. 19 дек.); “На Луи смотрели с *двойным чувством* – восхищения и жалости: он уезжал навстречу смерти” (И. Эренбург. Буря); “Тогда я еще не знал, конечно, *двойного смысла* андерсоновских сказок” (К. Паустовский. Сказочник); “В проекте заложен *двойной принцип* исчисления” (Сегодня. 1994. 28 мая); “Впервые кандидат, если он является гражданином и другого государства, то есть обладает *двойным гражданством*, обязан сообщить об этом” (Мир за неделю. 1999. 9 окт.).

Что же касается четвертого значения прилагательного *двойной* (“неискренний, двуличный, лицемерный”), то в этом значении с ним сочетается весьма ограниченный круг существительных отвлеченного характера: *жизнь, игра, мораль, стандарт, счет*. Вместе с рассматриваемым прилагательным и некоторыми глаголами эти существительные образуют такие употребительные глагольно-именные словосочетания: *вести двойную жизнь, вести двойную игру, придерживаться двойной морали, пользоваться двойным стандартом, жить по двойному стандарту, придерживаться двойного стандарта, применять двойной стандарт в чем-л., по отношению к кому-л., вести двойной счет*. Приведем ряд примеров:

“*Двойная жизнь* не способствует душевному покою” (Работница. 1998. Октябрь); “Теперь, когда известно, кто таков NN, вероятность *двойной игры* представлялась незначительной” (Б. Акунин. Смерть Ахиллеса); “Сизов – человек сильный, лишенный *двойной морали*” (О. Рязанов. Заэкранье); “Бесконечно борясь против насилия в окружающем мире, я вдруг поняла, что живу *по двойному стандарту*” (М. Арбатова. Мне 40 лет...); “На посту комиссара корпуса Гетманов сохранил само собой разумеющийся *двойной счет*: это положено мне, это дозволено остальным” (В. Кардин. Жизнь – это свобода...).

Перейдем к рассмотрению прилагательного *двойственный*. БАС-2, МАС и БТС (с некоторыми вариациями) выделяют два значения этого слова:

1. Такой, в котором соединяются два различных качества, часто противоречащих друг другу.
2. Двуличный (МАС и БТС) или Лицемерный, неискренний; двуличный (БАС-2).

Однако правомерность выделения второго значения в указанных словарях не подкрепляется никакими цитатами из художественной литературы и публицистики (вероятно, из-за их отсутствия). В нашей картотеке также не содержится примеров с паронимом *двойственный*, имеющим значение “лицемерный, неискренний, двуличный”.

Все это ставит под сомнение целесообразность выделения второго значения. Поэтому вполне обоснованно, на наш взгляд, однотомные толковые словари С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, а также В.В. и Л.Е. Лопатиных ограничиваются лишь одним значением прилагательного *двойственный*: “Склоняющийся и в одну и в другую сторону; противоречивый”. Такая формулировка (содержащаяся первоначально в Словаре Ушакова) фактически не отличается по смыслу от указанного выше толкования первого значения этого слова в БАС-2, МАС и БТС.

Таким образом, в круг существительных, сочетающихся с паронимом *двойственный*, входят следующие слова: *чувство, ощущение, впечатление, решение, политика, позиция, поведение, отношение к кому-чему-л., подход к кому-чему-л., характер чего-л., природа чего-л., образ кого-л., натура, личность* и некоторые другие. Эти отвлеченные существительные вместе с прилагательным *двойственный* входят в соответствующие глагольно-именные словосочетания: *испытывать двойственное чувство, ощущение, произвести двойственное впечатление на кого-л., принять двойственное решение, проводить двойственную политику в отношении кого-чего-л., занимать двойственную позицию в отношении кого-чего-л., отметить двойственное поведение кого-л., обратить внимание на двойственное отношение кого-л. к кому-чему-л., наблюдать двойственный характер, природу чего-л.* и т.д. Приведем ряд примеров:

“Усыновленный мальчик вызывал у него (Николая) *двойственное чувство: жалость и ненависть*” (М. Анисов. Злополучное наследство); “Эта первая встреча вызвала у меня *впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен*” (М. Горький. Лев Толстой); “У Поли складывался величавый, но несколько *двойственный образ* Александра Яковлевича Грацианского” (Л. Леонов. Русский лес).

Что же касается паронима *двоякий*, то все толковые словари выделяют у него одно значение: “Проявляющийся в двух видах, формах; двойной”, совпадающее с третьим значением паронима *двойной*. Однако круг существительных, употребляемых с прилагательным *двоякий*, только частично совпадает с кругом существительных, сочетающихся с прилагательным *двойной* в указанном значении. Общими для обоих паронимов являются лишь следующие существительные: *смысл, выгода, польза, цель*. Кроме того, с паронимом *двоякий* сочетаются еще такие отвлеченные существительные: *судьба, процесс, исход, система, способ* и некоторые другие. Перечисленные существительные вместе с паронимом *двоякий* и соответствующими глаголами образуют следующие глагольно-именные словосочетания: *иметь двоякий смысл, вкладывать во что-л. двоякий смысл, получать двоякую выгоду, приносить двоякую пользу, преследовать двоякую*

*цель, иметь двоякую судьбу, наблюдать двоякий процесс, иметь двоякий исход, добиваться чего-л. двояким способом, проявляться двояким образом.* При этом первые пять глагольно-именных словосочетаний с паронимом *двоякий* синонимичны аналогичным словосочетаниям с паронимом *двойной*. Проиллюстрируем употребление прилагательного *двоякий* несколькими цитатами.

“Речь может идти об очередной политической кампании, преследующей *двоякую цель*” (Общая газета. 1999. № 2); “Заимствованные слова в русском литературном языке ждала *двоякая судьба*” (Русская речь. 1998. № 3); “Смушение проявляется *двояким образом*: либо мы ведем себя тише воды, ниже травы, либо, наоборот, держимся вызывающе” (Профиль. 1999. № 3); «Разумеется, можно ввести *двоякую систему* судопроизводства – для “своих” и для “чужих”» (Известия. 1999. 5 апр.).

Интересно отметить, что иногда встречаются случаи ошибочного употребления прилагательного *двоякий* вместо его паронима *двойственный* в словосочетании *производить впечатление*. Например: “В целом женский турнир произвел *двоякое впечатление*” (Мир за неделю. 1999. 30 октября). Здесь, безусловно, имеется в виду, что в проведении турнира были как положительные, так и отрицательные моменты, т.е. имело место некое противоречие, что характерно именно для семантики прилагательного *двойственный*, а не *двоякий*.

Помимо трех рассмотренных прилагательных, употребление которых вызывает определенные трудности, в данный паронимический ряд входят также прилагательное *двоичный* и адъективированные причастия *удвоенный* и *сдвоенный*.

Прилагательное *двоичный* имеет значение: “Основанный на счете двойками” и употребляется исключительно в научной и технической литературе, входя в состав некоторых терминов: *двоичная система исчисления, двоичная дробь, двоичный код, двоичное кодирование* и др.

Что же касается паронима *удвоенный*, то оно имеет два значения:

1. Вдвое больший, увеличенный в два раза; *двойной*.
2. Усиленный, сильно увеличенный.

При этом следует отметить, что круг существительных, сочетающихся с этим паронимом в первом значении, почти не совпадает с кругом существительных, употребляемых с прилагательным *двойной* в аналогичном значении: *охрана, караул, наряд, количество кого-чего-л., число кого-чего-л., вес, состав чего-л., сумма чего-л., капитал, ставка* (в азартных играх). Эти существительные вместе с паронимом *удвоенный* входят в состав таких глагольно-именных словосочетаний: *выставить удвоенную охрану, выставить удвоенный караул, направить куда-л. удвоенный наряд милиции, подготовить удвоенное количество специалистов, выдержать удвоенный вес чего-л.* (о каких-л.

конструкциях), *собрать удвоенную сумму налогов, играть* (в казино) *по удвоенной ставке* и др.

Первое значение, кроме того, имеет еще и следующий оттенок: “Повторенный дважды (о буквах, звуках)”. Например: *удвоенное “н”* в числительном *одинадцать*.

Во втором значении (“усиленный, сильно увеличенный”) с паронимом *удвоенный* употребляются такие отвлеченные существительные: *внимание, любопытство, осторожность, бдительность, энергия, сила, скорость, усилия* и некоторые другие. Эти именные словосочетания, в свою очередь, являются компонентами соответствующих глагольно-именных словосочетаний: *следить за кем-чем-л. с удвоенным вниманием, наблюдать за кем-чем-л. с удвоенным любопытством, делать что-л. с удвоенной осторожностью, проявлять удвоенную бдительность, приниматься за что-л. с удвоенной энергией, ехать с удвоенной скоростью, приложить удвоенные усилия для достижения чего-л.* и т.д.

Последний член паронимического ряда, адъективированное причастие *сдвоенный*, хотя и появилось в русском языке более двухсот лет назад (впервые отмечен в Словаре Нордстета в 1780 г.), не получило широкого распространения. Очевидно, именно поэтому МАС и однотомные толковые словари Ожегова и Лопатиных вообще не содержат этого слова. Что же касается БАС, то он дает следующее толкование паронима *сдвоенный*: “Состоящий из двух однородных предметов; двойной, удвоенный”. Круг сочетаемости его с существительными весьма ограничен: *сдвоенная нить, сдвоенная драфта, сдвоенная жатка, сдвоенный номер журнала, сдвоенные ряды, сдвоенные пешки и фигуры* (в шахматах). Кроме того, в разговорной речи преподавателей и учащихся часто употребляются словосочетания *сдвоенные занятия, сдвоенные уроки, сдвоенные лекции* (без обычного перерыва).

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что у рассмотренных паронимов, несмотря на частичное совпадение значений, достаточно четко прослеживается тенденция к разграничению круга их сочетаемости с существительными, что резко ограничивает возможность образования синонимичных конструкций.

*Язык рекламы*

## О ПАРАДОКСЕ В РЕКЛАМЕ

*И. А. МАГЕРРАМОВ,*  
*кандидат филологических наук*

Речевая свобода последних лет в нашей стране, обнаружившая немало непредвиденных тупиков и закоулков на пути развития языка, тем не менее лишней раз подтвердила неизбежность тезиса “риторика – дитя демократии”. Как ни странно, при наметившемся общем падении (в силу разных обстоятельств) культурно-речевого уровня разных людей значительно расширились возможности создания и употребления текстов различной направленности и структуры, прежде всего текстов малого жанра, отвечающих динамичному ритму современной жизни: анекдотов, прибауток, каламбуров, острот, парадоксов, афоризмов.

Обилие жанров подобных текстов говорит об универсальности одной из ведущих черт русского национального характера, которая в них содержится, – юмора, иронии, самокритичности, высмеивания всего и вся. Возникает ощущение, что современный человек защищается от большинства обрушившихся на него проблем при помощи иронии. Еще большее удовлетворение он получает, видимо, тогда, когда удастся удачно завуалировать истинный смысл высказывания, чтобы последний стал загадкой для окружающих, либо тогда, когда удастся самому добаться до сути аналогичного высказывания другого. При этом неизменно возрастает роль широкого контекста, позволяющего детализировать реальные и потенциальные семантические оттенки сказанного. Как пишет О.А. Корнилов в книге “Языковые картины мира как производные национальных менталитетов” (М., 1999), «истинный смысл сказанного часто формируется из недоговоренностей, метафор, коннотаций, т.е. опирается на всю когнитивную базу человека, владеющего русской языковой картиной мира. Очень часто для адекватного восприятия русского текста надо быть “человеком с понятием”» (с. 90).

Отмеченные особенности не могли не затронуть одной из специфических областей сегодняшней языковой реальности – рекламы. Ес-

ли оставить в стороне рекламную продукцию предшествующих десятилетий, которая размещалась в узкопрофессиональных, отраслевых изданиях, то можно сказать, что нынешняя реклама – это, по существу, новая область нашей действительности, лингвистические и психологические аспекты которой еще только осознаются и изучаются. Не случайно по силе воздействия на массовое сознание рекламу на Западе (а теперь, наверное, и у нас) уподобляют искусству и религии (см. об этом: Добросклонская Т.Г. Опыт изучения медиа-текстов. М., 2000. С. 158–160). Помимо этого, по широте и глубине проникновения в различные сферы жизни, по инструкторной роли, которую она играет для современного человека, она сравнивается также с мифами, имевшими похожий механизм воздействия на человека в примитивном обществе.

Сегодняшний рекламный текст, независимо от того, в каком СМИ-носителе он реализован, будучи комплексным структурно-семантическим образованием как с точки зрения порождения, так и восприятия, с целью усиления эффективности насыщается игрой слов, парадоксами, иронией, аллюзиями, историческими, литературными реминисценциями, – одним словом, он становится специфическим жанром, позволяющим соединить в себе многие риторические и стилистические приемы, тропы, фигуры. С одной стороны, эта тенденция есть проявление онтологических качеств любого вербального текста: всесторонне использовать возможности слова, полностью раскрыть его семантику, показать синтаксические потенции. С другой – здесь проявляется и попытка преодоления “чужеродности”, отторжения рекламы организмом того же СМИ, внутри которого она размещена. С определенной долей осторожности к рекламе может быть применено бахтинское понятие “чужой речи”, “чужого слова”, разработанное, правда, на материале художественных текстов.

Правомерность такого подхода подтверждается его оправданностью в применении к текстам других направлений. С этой точки зрения вся деятельность рекламиста (создателя текста) направлена на нейтрализацию отмеченной выше чужеродности, зачастую путем придания тексту особых вербальных “скреп” для лучшего вживления в “чужой” организм, чтобы рекламное слово как можно больше походило на свое. Это близко соотносится с тем, что писал М.М. Бахтин: “Все слова для каждого человека делятся на свои и чужие, но границы между ними могут смещаться, и на этих границах происходит напряженная идеологическая борьба” (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 348). Эффективность этой “идеологической” (читай – языковой, риторической) борьбы в области рекламы зависит от тех конкретных методов и приемов, которыми сопровождается создание и воплощение рекламного текста.

Одним из таких приемов-скреп, используемых, по всей видимости, как уже было сказано, с целью преодоления фактора чужеродности,

являются парарекламные сообщения рекламной службы “Русского радио”. Не имея никакой смысловой связи с содержанием рекламы, они, по сути, выполняют лишь функциональную роль, предворяя либо завершая озвучивание собственно рекламы. В этих парарекламах на уровне порождения (автора, говорящего) осуществляется сознательное столкновение значений, приводящее в итоге к наслоению и переплетению семантических уровней. Как пишет Г.А. Золотова при рассмотрении структуры текста в коллективной монографии “Коммуникативная грамматика русского языка” (М., 1998), “тактикой автора задается и характер отношений читателя к тексту; мера активизации его мыслительного и эмоционального участия зависит от открытой или интригующе-загадочной связи событий, от прозрачности или противоречивости, многозначности, а может быть, аллегоричности, от суггестивной силы и экспрессивной напряженности текста” (с. 454–455).

Что же касается остроумного, догадливого слушателя, то его задача, как нам кажется, – обнаружить все скрытые смыслы, “связать концы с концами”, разглядеть то семантическое ядро, в котором эти смыслы фокусируются. Чем больше таких смыслов, тем интереснее и сложнее итоговый результат употребления парарекламы-остроты. В цитированном труде Г.А. Золотова ссылается на австрийского исследователя Heinrich’a Pfandl’a, тонкого знатока и интерпретатора В. Высоцкого, который, отмечая, вслед за Р. Бартом, роль активного читателя в восприятии художественного текста, в одном из двустихий поэта обнаруживает пять или шесть интертекстуальных ассоциаций, или аллюзивных планов, лишь полный учет которых он считает условием понимания данного текста (см.: Золотова Г.А. и др. Указ. соч. С. 455, сноска). Как видим, современной лингвистикой успешно применяется аналогичный подход к текстам различного содержания.

Для иллюстрации сказанного рассмотрим следующую парарекламу: “Мы не правые и не левые, потому что мы валенки”. Контекстуально-семантический анализ позволяет обнаружить в этом высказывании следующие смыслы (планы):

1) прямой (мнимобуквальный): как бы от имени самих валенок, которые не бывают ни правыми, ни левыми;

2) метафорический: валенок – это такой человек, который ни на что не годится (другим словом, лопух);

3) каламбурный (политический): правые, левые, центристы и др.;

4) метонимический (связанный с 3): депутат – это валенок (Эй, валенок!);

5) иронический (авторско-уничжительный): все мы в конечном итоге валенки, такова уж наша судьба.

У последнего плана может быть и другой смысл: мы все (народ) центристы (3), и нас голыми руками не возьмешь (т.е. сознательная позиция).

Не все из перечисленных планов одинаково активны; так, уровни (2) и (4) явно не определены и не представлены в синтаксической структуре данного высказывания.

Таковую же многоуровневую интерпретацию допускают парареклама “Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме”. Здесь семантические планы связаны со значением просторечного глагола “калымить”; с относительно устойчивым пониманием названия страны “Гондурас”, связанного с неустойчивой семьей, вытекающей из созвучия этого слова со словами “дура, дурак”; с осмыслением окказионального глагола “гондурасить” как “валить дурака, дурачиться”; с пресуппозитивным значением топонима “Колыма” (как место ссылки); с осознанием предпочтительности содержания левой части высказывания, выраженного сравнительной конструкцией (“лучше калымить...”). Еще лучше раскрывается смысл данного высказывания о соположении с другим: “Не ту страну назвали Гондурасом”, где топоним приобретает окончательную негативную окраску в свете описанного выше значения и где очень заметно проявляется подразумеваемое значение путем ассоциативного переноса названия на другую, всем хорошо известную страну.

Как показывают наблюдения, эффективность остроты может зависеть и от степени парадоксальности и несочетаемости ее частей. Многие парарекламы построены по модели парадокса. Поскольку в последнем заложена и умело замаскирована логическая ошибка, совершенная, в отличие от софизма, непреднамеренно, то процедура поиска и обнаружения этой ошибки представляет определенный риторический и лингвистический интерес. Если брать за основу логический подход к тексту парадокса, то последний в большинстве случаев – уравнение, в котором неизвестным является семантический сдвиг, приводящий к кажущемуся разрушению структуры тождества, когда левая и правая части как бы перестают быть равными друг другу. В действительности же никакого изменения объема содержания частей не происходит. Для того, чтобы решить это уравнение, т.е. понять смысл парадокса, необходимо, мгновенно “увидев” содержащееся в нем неизвестное (семантический фокус или место смещения, сдвига), вычленив и приплюсовать его к заданному автором смыслу (либо “вычесть” из него). При успешном завершении этой мыслительной операции обязательно должен получиться правильный ответ, совпадающий с предложенным (т.е. задуманным) вариантом говорящего (или пишущего). Образно говоря, парадокс напоминает известную ленту Мёбиуса, в которой незаметно для глаза произошло перекручивание концов. Правда, для того, чтобы выровнять ленту, достаточно перерезать ее в любом месте. Парадокс не может быть выровнен только в определенном месте – там, где находится его семантический фокус. Проиллюстрируем это на классических примерах:

1) Люди безумны, и это столь общее правило, что не быть безумцем было бы тоже своего рода безумием (Б. Паскаль).

2) Поистине, многие люди читают только для того, чтобы иметь право не думать (Г.К. Лихтенберг).

3) Тише едешь – дальше будешь (русская пословица).

4) У семи нянек дитя без глаза (русская пословица).

При упрощенном схематизировании этих высказываний получаем следующие тождества, в которых содержится ядро парадокса.

1) не буземец = безумие.

2) читать = (иметь право) не думать.

3) почти стоишь = удаляешься.

4) четырнадцать глаз = ни одного глаза.

Как видим, в высказывании (1) семантический сдвиг находится в левой части уравнения, которая сама по себе тоже является тождеством (безумны все люди, и тот, кто нарушает это универсальное правило, по своему ненормален). Утверждение (2) может быть интерпретировано следующим образом: чтение по сути должно стимулировать “думание” либо давать право на другие мыслительные операции, к которым можно отнести и “недумание”. В высказывании (3) нарушается прямая зависимость между расстоянием и скоростью движения: в положительное ядро парадокса попадает имплицитный семантический компонент целостности, сохранности субъекта движения. Что же касается последнего высказывания, то все четырнадцать глаз перестали почему-то выполнять функцию органа зрения, вследствие чего семь нянек подобны слепцам.

Как выясняется, вся риторическая суть парадокса заключается в подобном столкновении известных смыслов, в создании нового смысла и в освежении старых. В отличие от тропа (метафоры, метонимии) парадокс обязательно нуждается в контексте и в нем раскрывается. Очень часто он сопровождается иронией, которая переводит парадокс в сферу остроумия. При этом возникает еще один уровень (иронический), который сам по себе двупланов.

Юмористический эффект употребления подобных высказываний достигается, по-видимому, при моментальном восприятии слушателем всех существующих планов. При неумении “читать” (т.е. вычленивать и соединять) смыслы у слушателя обнаруживается то, что характеризуется как отсутствие чувства юмора (в иных случаях – логического мышления). С другой стороны, эти ментальные операции носят по преимуществу неосознанный характер, а стремление их осознать и проконтролировать может значительно снизить (если не свести полностью к нулю) метафорический, каламбурный эффект текста, аналогично тому, как безрезультатны попытки растолковать юмористическую сторону анекдота тому, кто его не понял с первого раза.



## **Рубен Иванович Аванесов**

**(1902–1982)**

Труды и деятельность Р.И. Аванесова, видного отечественного диалектолога, историка русского языка, организатора многих полезных начинаний в науке, учителя не одного поколения российских ученых, на протяжении XX века не раз уже оценивались современниками. Да и сам ученый, обладая к тому же весьма изысканным стилем письма, многое о себе рассказал в воспоминаниях о своих наставниках. “Мой интерес к истории русского языка, – писал он в 1970-е гг., – к русской диалектологии, к описательной и исторической фонетике русского языка, к орфоэпии, фонологии и теории орфографии был развит моими замечательными учителями. И если в этих областях науки о русском языке мне удалось что-то создать и подготовить своих собственных учеников, работающих на том же поприще, то этим я обязан, главным образом, двум замечательным русским людям и крупнейшим русским ученым – Дмитрию Николаевичу Ушакову и Афанасию Матвеевичу Селищеву” (цит. под изд.: Степанов Ю.С. К 75-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Рубена Ивановича Аванесова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 36. № 1. 1977. С. 91).

Р.И. Аванесов прожил долгую и непростую жизнь, пройдя через многие катаклизмы истории отечества, но оставался верным своему

призванию. Нашим современникам, а может быть, и потомкам еще предстоит собрать воедино наследие ученого, сделать достойный его трудов комментарий, разыскать архивы и те крупницы его лингвистического таланта, которые разбросаны в многочисленных государственных и частных собраниях. Именно о них (т.е. с использованием этих новых данных) и пойдет речь в нашем небольшом биографическом очерке.

Рубен Иванович Аванесов родился в г. Шуша (Нагорный Карабах) в Азербайджане 1 (14) февраля 1902 г. Некоторое время он учился в знаменитом Лазаревском институте иностранных языков, а после его закрытия окончил в 1919 г. Советскую трудовую школу. Дальнейшее образование он получил на историко-филологическом факультете Московского университета, откуда вначале он вынужден был уйти, не имея возможности совмещать учебу с работой. Вторично он поступает в 1922 г. на отделение литературы и языка факультета общественных наук (ФОН) и оканчивает его в 1925 г., получив специальность “славяно-русское языкознание”. К этому же времени относятся первые самостоятельные научные опыты Р.И. Аванесова и экспедиционные поездки с целью сбора диалектологических данных. Об одной из них он рассказал в письме к близкой знакомой Е.Е. Тагер, впоследствии известному литературоведу, автору статей и монографий о художниках и скульпторах:

“Я пришел в Переславль вчера вечером. Дней на пять я уходил путешествовать с М.И.-чем (указанные инициалы расшифровать не удалось) по уезду. Мы с ним исходили пешком около 100 верст. Я занимался диалектологией, он археологией – раскопки делал и по церквям ходил – старых икон искали – сделали интересные приобретения для музея. Путешествие наше пешее не обошлось без приключений; ходили по лесам – в одном месте заблудились, чуть в лесу не пришлось ночевать – а там волки и змей много. Не обошлось дело и без выпивки – в одном селе мы с М.И.-чем вместе с местным священником пили самогон. М.И. пил мало, я же соперничал с попом, благочинным, о. Василием (а он знаменитейший в уезде пьяница). Я конкурировал было очень удачно и думал, что побеждаю. Но затем внезапно (я уж ничего не помнил и узнал только наутро) дело кончилось позорнейшим поражением. (...) были и другие приключения” (РГАЛИ. Ф. 2887. Оп. 1. Ед. хр. № 317. Лл. 1–1 об.). Научная сторона поездки была описана им в одной из первых статей “О говоре Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии” (1927).

Основные интересы молодого ученого лежали в плоскости исторического и прикладного языкознания, тем любопытнее кажется поворот к другой стихии – исследованиям по русской литературе. В 1922 г. он публикует большую статью «Достоевский в работе над “Двойником”», раскрывающую многогранный талант Р.И. Аванесова

в иной плоскости – как тонкого стилиста и знатока русской классики. Теперь об этом едва ли кто вспомнит, но в юности его связывало знакомство с таким корифеем литературоведения, как проф. П.Н. Сакулин. Сохранился интересный документ тех лет, дающий, кроме того, и личные свидетельства ученого о судьбе его семьи. В письме к П.Н. Сакулину в 1924 г. он пишет: “Дорогой Павел Никитич, очень прошу Вас извинить меня в том, что я сегодня не могу быть на заседании: уезжают мои брат и сестра за границу, далеко (в Париж) и надолго, и я, на котором лежит вся организационная тяжесть их переезда, не могу не проводить их” (РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Ед. хр. № 60. Л. 1).

Много позднее мы нашли еще один факт, говорящий о давних исследовательских и человеческих интересах Р.И. Аванесова к изящной словесности. В письме к известному советскому писателю Л.П. Гроссману (1958 г.) он обронил: “Я Вас знаю и люблю с первых дней своих студенческих лет, когда стал под руководством покойного Николая Леонтьевича (по-видимому, Бродского. – *О.Н.*) заниматься Достоевским. Я и мои товарищи бывали на всех Ваших докладах и выступлениях и считали Вас одним из самых блестящих и талантливых литературоведов. Однако познакомиться с Вами лично довелось много позже” (РГАЛИ. Ф. 1386. Оп. 2. Ед. хр. № 163. Л. 1). Наконец, приведем еще один документ. В письме 1923 г. к другу студенческих лет Е.Б. Тагеру, впоследствии известному литературоведу, он сообщает: «Я не делаю ровно ничего. Впрочем, каждый день ходил в исторический, но, по правде сказать, ходил не для того, чтоб заниматься, а совсем по другим целям: ходил просто посидеть и побеседовать с одной очень симпатичной библиотечаршей (студенткой архео[логического] отд[еления]). Теперь (с 1<sup>го</sup>) она не работает уже [в] библиотеке (а в другом отделе), и потому я, кажется, приношу свои “ученые занятия”.

Только что прочел “Хождение по мукам” Ал. Толстого. Читал ли ты? Очень мне понравилось. Мне лень об этом романе писать, потому что только вчера я об этом подробно писал Лиле (Лидия Моисеевна Полак – жена Р.И. Аванесова. – *О.Н.*). Если ты не читал, очень советую прочесть» (РГАЛИ. Ф. 2887. Оп. 1. Ед. хр. № 45. Лл. 1 об. – 2).

Многие годы Р.И. Аванесов работает в средней школе, на рабфаках и в рабочем университете, создавая школьные учебники: “Рабочая книга по русскому языку” (совместно с П. Криворотенковым и Л.Б. Перльмуттером, 1928), “Сборник орфографических упражнений для начальных образовательных школ взрослых” (1929), “Синтаксис, пунктуация, стилистика. Учебная книга по русскому языку” (совместно с Л.Б. Перльмуттером и В.Н. Сидоровым, 1930), “Грамматика русского языка для 6 класса средней школы” (совместно с Л.Б. Перльмуттером и В.Н. Сидоровым, 1932), “Русский язык. Грамматика и правописание. Учебник для школ малограмотных” (1933) и др.

В 1931–1933 гг. Р.И. Аванесов – сотрудник Научно-исследовательского института языкознания при Наркомпросе РСФСР, а с 1932 по 1947 гг. он был заведующим кафедрой русского языка Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина. Именно в те годы вместе с ним работали В.Н. Сидоров, П.С. Кузнецов, А.А. Реформатский – ядро будущей Московской фонологической школы. В 1935 году Р.И. Аванесов был утвержден в ученое звание профессора и в ученой степени кандидата филологических наук без защиты диссертации. К тому времени у него был уже немалый опыт исследовательской и экспедиционной работы в области истории русского языка и диалектологии, вышли его труды: “Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка” (в соавторстве с В.Н. Сидоровым, 1930), “Говоры Верхнего Поветлужья. Фонетика и диалектологические группы” (в соавторстве с В.Н. Сидоровым, 1931), многочисленные учебники, методические разработки.

Особая страница в жизни и деятельности Р.И. Аванесова – сотрудничество с Д.Н. Ушаковым. Начало этому было положено еще со времени обучения в МГУ. Дмитрий Николаевич привлек молодого выпускника к работе в Московской диалектологической комиссии, членом которой он являлся с 1925 года. Затем совместная работа в системе Академии наук СССР: Д.Н. Ушаков пригласил Р.И. Аванесова в организованный в 1939 г. Сектор славянских языков Института языка в письменности, где тот был одним из самых деятельных участников, организатором многих поездок для сбора диалектных данных и т.д. Надо сказать, что и сама атмосфера, и коллектив, сплотившийся вокруг Д.Н. Ушакова, содействовали развитию творческой интуиции и совершенствованию научных методов Р.И. Аванесова.

Нам удалось ознакомиться с протоколами заседаний Сектора довоенных лет. Вот некоторые наши наблюдения. На первом же собрании 3 сентября 1939 г. Р.И. Аванесов предложил “наметить следующие работы по диалектологии: 1) организация экспедиций, 2) составление карт и монографий, 3) составление библиографии” (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 150. Л. 2). Он активно работал вместе с другими членами Сектора над составлением диалектологической карты Рязанской области и описанием отдельных говоров, над “Областным словарем русского языка”.

Сохранившиеся планы “ушаковских мальчиков” по изучению истории русского языка до сих пор впечатляют своей новизной, широтой данных, экспериментальностью подходов. Так, в плане Сектора славянских языков на 1940 год значились следующие темы: выборка материалов (50000 карточек), составление предварительного плана и инструкции для “Областного словаря русского языка” (руководители – Р.И. Аванесов и С.И. Ожегов), монографическое описание отдельных русских говоров – изучение диалектов по р. Пре Спасского района Ря-

занской области (Р.И. Аванесов), говором Мелеховского (В.Н. Сидоров) и Можарского (П.С. Кузнецов) районов Рязанской области, проблема классификации южновеликорусских говором в связи с изучением говором Болховского района Орловской области (А.М. Сухотин) и др. В выступлении 10 января 1940 г. на заседании Сектора, руководимого Д.Н. Ушаковым, Р.И. Аванесов выделил важность изучения говором Рязанской области: “Еще (...) Будде в свое время говорил о том, что Рязанская область очень интересна. Институт думает организовать разведывательные поездки. Исследование начать предполагается с лета этого года и в течение нескольких лет охватить территорию не в пределах современной Рязанской области, а в пределах Рязанского княжества. Материал даст возможность пересмотреть точку зрения на образование переходных говором. Карта будет дополнением” (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 150. Л. 15). В плане Сектора на 1941 г. в области работ по диалектологии за Р.И. Аванесовым значилась “Проблема генезиса среднерусских говором” (6 авт[орских] лист[ов] к 1 декабря 1941 г.) (Там же. Л. 70). А последнее заседание состоялось накануне войны – 21 июня 1941 г.

Довоенный период был очень плодотворным для Р.И. Аванесова. Кроме известных данных, в РГАЛИ и Архиве РАН сохранились и другие материалы, относящиеся к деятельности ученого в те годы. Это “Отзыв на Правила употребления знаков препинания” А.М. Сухотина (1935 г.), присланные Д.Н. Ушакову “Вопросы русского литературного произношения” (статья 1937 г.), письма Р.И. Аванесова Д.Н. Ушакову, темы для спецкурсов и многое другое. Показателен один из первых опытов в области орфоэпии, развившийся позже в ставшую классической книгу “Русское литературное произношение”, выдержавшую до середины 1980-х гг. 6 изданий. Мысли, высказанные Р.И. Аванесовым в далеком 1937 году, до сих пор отличаются новизной и актуальностью: “Исключительное внимание нашей школы к орфографии понятно: малограмотность [должна] быть ликвидирована в кратчайший срок. Но давно уже пришло время поднимать также культуру устной речи и, в частности, развивать правильное произношение.

Правильное произношение, как и правильное письмо, являются неотъемлемыми сторонами литературного языка. Их задачи заключаются в том, чтобы, минуя все индивидуальные особенности речи, а также особенности местных говором, быть средством наиболее широкого общения. Поэтому обучение правильному произношению так же необходимо, как и обучение правописанию. Сознательное культивирование правильного произношения (в школе, на радио, на сцене, в кино) имеет огромное практическое значение в деле приобщения малограмотных масс трудящихся к литературному языку (...)” (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 5. Ед. хр. № 1. Лл. 3–4).

Тяжелые годы войны разбросали “ушаковских мальчиков” по городам и весям России. Д.Н. Ушаков вместе с Институтом языка и письменности оказался в Ташкенте, А.М. Сухотин – в Ульяновске, Р.И. Аванесов – в Козьмодемьянске (на Волге), где он провел год. Об этом периоде ярко свидетельствует рассказ самого ученого в его письме к В.В. Виноградову от 18 февраля 1943 г.: «(...) я работал в Марийском пед[агогическом] ин[ститу]те. Работы было много, и неинтересной. Условия жизни там неровные, но в общем, привлекательного было мало. Самое тяжелое – было малокультурное окружение, склочный коллектив (правда, институтские склоки нас не касались, но это малоприятно). Поэтому когда Университет переехал в Свердловск и оказалась возможность вернуться в него (т.е. в бывшее ИФЛИ) – я охотно это сделал. Здесь нам в бытовом отношении тоже нелегко. Тут свои своеобразные трудности, о которых долго, да и неинтересно для Вас писать. Но в остальном я доволен: работа интересная, свой коллектив, свой факультет, где я много лет проработал, культурное наше московское окружение, много знакомых.

За это время я сколько мог и работал (правда, почти без книг, больше по своим материалам) – занимался несколькими вопросами слав[янской] фонетики доисторич[еской] эпохи, несколькими вопросами историч[еской] фонетики р[усского] языка (отчасти в связи с своими диалектологическими наблюдениями), вопросом о происхождении и составе средневеликорусских говоров, о классификации р[усских] говоров в связи с более общим вопросом о классификации диалектов вообще. Сейчас занят (в свободные часы – а их мало, т[ак] к[ак] очень много времени уходит на всякого рода хозяйств[енные] заботы) этим последним вопросом. Если бы Вы знали, как шатка классификация р[усских] говоров и как нелогично их выделение! По какому, напр[имер], принципу выделяются ср[едне] в[елико] р[усские] говоры? Или – ю[жно] в[елико] р[усские] говоры? Четких принципов нет. Если установить также признаки, наличие кот[оры]х позволяет отнести данный говор к той или иной р[усской] группе, то кое-что “сдвиндел” с своего места – изменится объем понятий “ср[едне] в[елико] р[усские] говоры” и “ю[жно]-в[елико] р[усские] говоры”.

Из вопросов фонетики р[усского] языка отмечу вопрос о “переходе” *e* в *o*, которым я занимался в прошл[ом] году. Исходя из своих некоторых наблюдений над совр[еменными] говорами, а также из других материалов, я пытаюсь дать новое объяснение эт[ом]у явлению. Шахматовское объяснение (которое в основном восходит к Фортуна-тову) мне не кажется удовлетворительным сейчас. С каким бы удовольствием я рассказал Вам свои мысли и предположения и посоветовался бы. К сожалению, в письме, это невозможно. Занимался также историей *и* и *ы* (историей их функционального сближения), заударным вокализмом р[усского] языка, отметил кое-какие детали в типах

ю[жно] в[елико] р[усского] яканья, а также приводил в порядок и обрабатывал свои диалектологические материалы двух предвоенных лет» (Архив РАН. Ф. 1602. Оп. 1. Ед. хр. № 128. Лл. 1–1 об. и далее).

В пучине нечеловеческих испытаний и страданий забывались прошлые обиды и разногласия. Каждый, кто имел возможность помочь коллеге по “филологическому цеху” и испытывал такое желание, откликался на весточки других. Так Р.И. Аванесов в письмах к Н.М. Малышевой (жене В.В. Виноградова) справляется о судьбе Виктора Владимировича, с которым, заметим, до конца жизни были очень непростые отношения. Но здесь, в этих его словах – сколько искренности, понимания человеческих проблем! Приведем строки из письма от 13 мая 1943 г.: “Очень хочется знать о Ваших перспективах. Я просил Викт[ора] Вл[адимирови]ча и Вас прошу написать мне в Москву. Может быть, я чем-нибудь мог бы помочь в Ваших делах московских? Вы знаете, Надежда Матвеевна, что это не пустые слова. Я прямо был бы счастлив, если бы мне удалось приблизить хоть немного Ваше возвращение в Москву или улучшить Вашу жизнь вне Москвы пока. Напишите мне, не стесняясь, обо всем. Я боюсь, что Викт[ор] Вл[адимирови]ч, исходя из наших принципиальных несогласий кое в чем, может не захотеть обращаться ко мне. А по-моему, принципы принципами, а личные отношения личными отношениями. И никакие принципиальные разногласия, мне кажется, не могут мешать хорошим, дружеским отношениям. А с Вами-то у меня никаких и разногласий-то нет. Кроме огромной симпатии, большого тяготения к Вам (как мы ни различны внешне по характеру – но Ваша эксцентрика и изломы души мне очень близки), любви, уважения и даже почти преклонения – нет у меня других чувств к Вам” (Архив РАН. Ф. 1602. Оп. 1. Ед. хр. № 528. Л. 1).

После войны Р.И. Аванесов активно включился в разработку филологической теории. В 1948 г. он успешно защитил докторскую диссертацию. В это же время выходят программные статьи ученого: “Вопросы образования языка в его говорах” (1947), “О системе фонетической транскрипции при собирании материалов для диалектологического атласа русского языка” (1947), “Очерки диалектологии рязанской Мещеры. 1. Описание одного говора по течению р. Пры” и др., а также “Программы собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка”.

В работах Р.И. Аванесова 1940-х гг. была выдвинута и обоснована концепция лингвистической географии как науки, было дано теоретическое обоснование ряду спорных вопросов в области исторической лингвистики. Он «впервые в нашем языкознании систематизировал и опубликовал фонологическое описание диалектного языка и опубликовал его в виде книги “Очерки русской диалектологии” (ч. 1. М., 1949). Р.И. Аванесов стал, таким образом, одним из основателей Мос-

ковской фонологической школы» (Степанов Ю.С. Указ. соч. С. 92). В этой книге ученый выступает не только как инициатор нового метода описательной диалектологии, но и последовательный сторонник системного подхода к анализу языковых явлений. В Предисловии к своему труду он пишет: “В зарубежной лингвистической науке довольно распространено мнение о несовместимости изучения языка как системы, с одной стороны, и как объекта диалектологии, в частности лингвистической географии, – с другой. Подобное мнение неправильно. Современный русский язык в его общенациональной, литературной форме и местных наречиях и говорах образует сложную систему, включающую в себя черты общие и частные, черты единства и различий разных степеней диалектного членения” (Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. Ч. 1. М., 1949. С. 3).

В 1958 г. Р.И. Аванесов был избран членом-корреспондентом АН СССР. На его плечах лежала поистине титаническая работа по созданию диалектологического атласа славянских языков. Эта идея была выдвинута ученым на IV Международном съезде славистов в Москве. “В докладе на съезде, – пишет В.В. Иванов, – им были сформулированы теоретические основы и принципы атласа и очерчены его границы. Рубен Иванович возглавил работу Комиссии Общеславянского атласа (...)” (Иванов В.В. Рубен Иванович Аванесов (К 75-летию со дня рождения) // Русский язык в школе № 1. 1977. С. 115). Вместе с этим продолжается разработка теоретических проблем диалектологии и истории русского и славянских языков на широком географическом и хронологическом пространстве (см., например, его работы: “Сравнительно-исторический метод как система исследовательских приемов изучения родственных языков” (1956), “Лингвистическая география и структура языка. О принципах общеславянского лингвистического атласа” (1958), “Описательная диалектология и история языка” (1963), “О двух аспектах предмета диалектологии” (1965) и др.

Р.И. Аванесов явился инициатором издания “Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.”. В 1960-е годы им были подготовлены введение, инструкция, список источников и опубликованы пробные статьи. Он возглавил коллектив по составлению и изданию этого словаря.

В 1968 г. Р.И. Аванесов был награжден президиумом Чехословацкой Академии наук серебряной медалью им. Й. Добровского “За заслуги в развитии общественных наук”. В течение долгих лет он являлся членом бюро ОЛЯ АН СССР, выполняя большую координационную работу в комиссии по диалектологии. Р.И. Аванесов был председателем Комиссии Общеславянского лингвистического атласа, председателем Научного совета по диалектологии и истории русского языка, возглавлял Комиссию по фонетике и фонологии ОЛЯ АН СССР. С 1967 года он исполнял обязанности вице-президента Международного общества фонетических наук. А в 1976 г. его избрали вице-

президентом Международной организации “Лингвистический атлас Европы”.

Ученики Р.И. Аванесова С.В. Бромлей и Л.Н. Булатова вспоминают: “Немного можно найти ученых, которые сделали бы столько для подготовки научных кадров, сколько сделал Р.И. Аванесов. Он принимал участие в этой работе и как лектор, и как автор учебников для средней и высшей школы, и как составитель вузовских программ по ряду лингвистических дисциплин. (...) Более 120 лингвистов, работающих в научных и высших учебных учреждениях нашей страны и за рубежом, прошли школу Р.И. Аванесова; 20 из них уже доктора наук” (Бромлей С.В., Булатова Л.Н. 70-летие Рубена Ивановича Аванесова // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. Т. 31. Вып. 3. 1972. С. 288).

100-летие со дня рождения Р.И. Аванесова отмечено подготовкой “Аванесовского сборника” и продолжением знаменитой серии “Материалы и исследования по русской диалектологии в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, где будут представлены работы соратников и учеников Р.И. Аванесова, а также редкие архивные материалы.

**О.В. НИКИТИН**



## Названия допетровских деловых текстов

А. Н. КАЧАЛКИН,  
доктор филологических наук

Хорошо знакомые историкам языка по многочисленным изданиям грамоты на самом деле так не назывались, *грамотами* их именовали публикаторы и исследователи. Реально же эти тексты в допетровское время еще не имели собственных названий.

Вместе с тем в ряде деловых памятников XI–XIV веков уже встречаются именованья, относящиеся к целому тексту, но они лишь называют излагаемую в нем тему, действие или акт, еще не определяя тип самого текста, не характеризую его как жанр (*Устав, Ряд, Правда*).

До появления деловых текстов с реальными названиями в летописях упоминались подобные деловые бумаги: *Ответ, Завещание, Заповедь, Укрепление, Докончание*. Правда, контексты не всегда позволяют правильно понять значение и определить, идет ли речь о документе или просто о действии. На сведения летописи как на надежный источник первого упоминания о документе трудно полагаться, так как все они сохранились в поздних списках XV–XVII веков, а переписчики могли вносить в текст названия современных им документов.

Одним из ранних сложившихся типов делового текста, получивших свои особые именованья, были *Записи*. Вначале они представля-

ли собой дипломатический документ о ненападении, разграничении территории (1375 г.).

На рубеже XIV–XV веков появляются тексты с закрепившимися за ними именами, например, *Отпись* – “расписка в приеме имущества”; *Кабала* – “документ о денежном долге, долговое обязательство”.

Одним из распространенных типов делового письма в это время были духовные распоряжения, называвшиеся *Рукописаниями*. Выражая предсмертную волю, автор такого текста сообщал условия передачи своего имущества монастырю, церкви или иному религиозному учреждению. Подобен по содержанию и текст *Душевных грамот*.

Заметен рост числа документов, связанных с организационно-распорядительной деятельностью, например, вызов на суд производился в XV веке специальным документом – *Позовницей*. Причем такой порядок был принят для разных территорий Русского государства (ранее считалось, что только для Пскова).

Московская канцелярия распространяла принципы деятельности на всю территорию государства. Однако в XIV–XV веках в отдельных землях еще возникали и функционировали акты делового письма с местными названиями. Такова *Судница* – псковское название *Судной грамоты* – “решение суда о праве на владение”.

Документы русского центра взаимодействовали с документами западнорусских и южнорусских областей. Уже с XV века Москве был известен западнорусский документ *Лист*. Однако, такие документы известны только известны Москве, а не свойственны ей, ибо они встречаются в упоминаниях, ссылках, но не составляются и не рассылаются из московской канцелярии в качестве нормативных.

Что же касается основных документов княжеской канцелярии, то в ней довольно рано стали появляться тексты с названием *Грамота*, а уже к концу XV века они укрепились в своем употреблении, причем в разных значениях. Первоначально слово *грамота* употреблялось для обозначения просто “писанного текста” (как, например, Грамота князя Ростислава 1150 г.). В XIV веке отмечается употребление *Грамоты* как типа текста, оказавшегося впоследствии очень устойчивым и означающим “документ от главы государства подданному, представляющий право владения или пользования чем-либо”. С середины XV века появляется новое значение у слова *грамота*: “деловое письмо распорядительного характера из центрального учреждения в местные учреждения и к должностным лицам”.

Другие жанры, активно развивавшиеся в этот период, реализовывались в текстах с названием *Список*; первые случаи употребления слова *список* связаны со значением судебного документа, содержащего обоснование решения (приговора) суда. Несколько позже такое же название получает документ, содержащий описание, запись сведений о делах, людях, документах.

В XV – начале XVI веков усиливается потребность в письменной фиксации и межличностных договоров; появляются разнообразные *Купчие грамоты, Записи, Кабалы, Крени* и другие подобные документы.

К этому времени относится много новых упоминаний, которые обычно предшествуют появлению собственно документов с такими названиями: *Речи* в значении “дипломатическое письменное обращение, нота” (1508 г.); *Перепись* – “поименный список людей” (1510 г.); *Приказ* – “письменное повеление от начальствующего подчиненному” (1530 г.); *Памятца* – “небольшое письменное отношение или предписание” (1547 г.) и др.

В 1497 году великий князь Иван Васильевич III “уложил с детьми своими и с бояры” Судебник, продолживший традиции Русской Правды. В связи с изложением правовых норм Судебник сообщает о разных грамотах. Число названий разновидностей грамот невелико, но встречаются они довольно часто. Это *Беглая, Бессудная, Духовная, Отпускная, Полетная, Полная, Правая грамоты*. В Судебнике упомянут также жанр *Описки*. Часть документов названа по их темам: *Приставная, Срочная отписная*.

В Судебниках упоминались наиболее важные документы эпохи, и любопытно, что ни один из них не утрачивался, а, наоборот, повторялся в следующем Судебнике в сочетании с их новыми видами и разновидностями, аналогов которым обычно не удается обнаружить не только в предшествующих Судебниках, но и в практике документооборота. Так, в Судебнике 1550 года царя Ивана Васильевича IV кроме прежних грамот называются *Вольная, Губная, Докладная, Жалованная вопчая, Льготная, Приставная, Срочная, Тарханная, Уставленная, Уставная*.

Судя по статьям Судебника, русской канцелярии середины XVI века хорошо известны такие документы, как *Жалобница* – “официальное заявление о противоправных действиях должностного или частного лица в отношении жалующихся и с просьбой о восстановлении их прав и защиты”; *Кабала* – “документ, устанавливающий имущественную зависимость одного лица от другого; документ о денежном долге, долговое обязательство”; *Крепость* – “обобщающее название Кабал и Кабальных записей”; *Отпись* – “расписка в приеме денег, возвращаемого долга”; *Приговор* – “отдельный документ или часть документа, содержащие судебные или административные решения облеченных властью лиц”; *Речи* – “протокол, дословная запись показаний определенного лица” и др. Судебники, безусловно, оказывали серьезное регламентирующее воздействие на жизнь русского государства, на его управление. Но ни эти, ни другие законодательные акты не предписывали правил деятельности канцелярии и составления документов.

Архивные материалы свидетельствуют о появлении в начале XVI века новых текстов организационно-распорядительной и учетной документации. Среди них часто встречается *Отписка* в значении документа служебной переписки между местными канцеляриями. Обиходным делом становится составление разного рода *Смет* – документов, содержащих учетные и расчетные данные.

В XVI веке появился канцелярский документ с названием *Память*, до этого времени употреблявшийся лишь в бытовом обиходе и имевший значение личной памятной записки. *Памятью* в начале XVI века могли назвать и духовное завещание, именовавшееся *Рукописанием* или *Духовной*, или *Вкладной*, или *Данной*. На фоне текстов такого плана в середине XVI века сформировалась *Память* как документ, представляющий собой распоряжение, предписание старшего по положению лица (а вскоре и учреждения) на конкретные действия своим подчиненным.

Со второй половины XVI века в связи со значительным территориальным ростом русского государства острее ощущается потребность в передаче распоряжений по организации внутренней жизни страны.

В XVI веке появляются документы, относящиеся к разъездам по территории государства в связи со служебными поручениями. “Командируемому” вручался *Наказ*, содержащий предписание о том, что нужно сделать или как поступить в том или ином случае. Если “командированный” выезжал для проведения следствия по какому-либо делу, то на основании расспроса местных людей он составлял *Обыск* – целый суммарный отчет о выяснении вопроса, о проведенном следствии. *Обыск* составлялся на основании отдельных *Сысков*, излагавших результаты выяснения, исследования конкретного самостоятельного дела или вопроса. По возвращении “командированный” представлял в направлявший его приказ письменный *Доезд* – отчет о выполнении административного поручения, связанного с поездкой.

Увеличение территории государства потребовало новых учетных и отчетных документов. В это время интенсивно растет число разного рода *Росписей*: они могли быть перечислением вещей, денег, документов; представлять собой списочный состав служилых людей, быть сметой – примерным расчетом расходов или предстоящих дел. В жанре *Росписи* составлялись разнообразные списки, перечни земель, укреплений и многого подобного.

Приведенные примеры указывают на особенно характерный для XVI века процесс смысловой классификации близких по теме документов. Тем не менее некоторые похожие на *Роспись* виды документов приобретали право на самостоятельное существование со своим собственным именем. Например, *Десятня* большей частью текста тоже представляла собой список, но это был “списочный состав людей в территориальных подразделениях”. Несколько отличалась и компо-

зиция *Десятнин*: в начале текста сообщалось, кому, за что и в каком количестве полагается денежное жалование, а уже затем следовал список служивых людей.

Отчасти сходны с *Росписями* появившиеся на рубеже XVI–XVII веков документы с названиями *Перечень* (перепись людей, опись предметов, составленные по определенному признаку. 1618 г.), *Список* (документ о людском составе воинского или административного подразделения, где все люди перечисляются поименно. 1563 г.), *Реестр* (перечень, краткая опись людей, предметов, документов). И у этих документов нет полного совпадения ни в содержании, ни в построении. *Роспись*, например, представляла собой по сравнению с Реестром более подробное описание людей, предметов, документов.

В период укрепления Русского централизованного государства задачи деловой письменности все усложняются, а функции ее расширяются. В XVI веке и особенно во второй его половине резко увеличивается число различных *Книг*, при помощи которых учитываются, регистрируются факты по разным вопросам.

Учет различных сведений в *Книгах* был свойствен и канцелярии XV века, а сохранившаяся за 1467 год *Ямская книга* подтверждает это. В ней записывались совершенные ямщиками по государственной надобности поездки. Существовали *Крестоприводные книги* (1497 г.), *Писемные книги* (1499 г.), *Казенные книги* (1515 г.) и некоторые другие по сравнительно частным вопросам. Общими же для всей территории Русского государства являлись *Писцовые книги*. Они были результатом описаний крестьянских дворов и земельных угодий в каждом владении. С середины XVI века описание земель сочеталось с описанием передачи части земли новым владельцам. Это фиксировалось в *Писцовых* и *Отдельных книгах* (1555 г.). Появляются *Приправочные* (1555 г.) и *Дозорные книги* (1572 г.), фиксировавшие изменения в состоянии прежде описанного хозяйства.

Тематика *Книг* второй половины XVI века весьма разнообразна: *Верстальная* (1566 г.), *Записная* и *Отводная* (1569 г.), *Вотчинная* (1571 г.), *Обыскная пустошная* (1573 г.), *Оценная* (1576 г.), *Даточная* (1582 г.). Особенно много разновидностей *Записных книг*, в которых канцелярии регистрировали различные *Кабалы*, *Порядные*, *Ссудные*, *Купчие* записи и т.п.

Из новых наименований документов конца XVI века назовем *Отпуск* в значении документа с приказанием отправиться куда-либо. Слово *Отпуск* было известно русской администрации и раньше, но в XVI веке оно называло не текст, а действие, регулируемое дипломатическими правилами: высылку иностранных представителей в свое государство.

В условиях завершения государственной централизации пересматриваются прежние права на владения, сохраняются или отменяются

пожалования на поместья, владельцы уточняют свои права на вотчины. По этой причине очень распространилось употребление специфических вторичных деловых текстов – *Выписей*, удостоверяющих существование подлинного текста целого документа, преимущественно *Книги*. *Выписи* функционировали как самостоятельные документы: такова, например, была роль *Выписи с Писцовых книг* (1500 г.), *Разъезжей выписи* (1518–19 гг.), *Выписи с таможенной книги* (1521 г.), *Отдельной выписи* (1562 г.), *Данной льготной выписи* (1564 г.), *Межевой выписи* (1589 г.), *Оброчной выписи* (1593–94 гг.) и др.

Необходимость подтверждать свои права на владения, имущество породила и специальный раздел документа, продлевающий, усиливающий его верительные качества. Этот раздел, распадаемый под основным документом, назывался *Подписью* или *Подпиской* и приравнивался к самостоятельному документу.

В начале XVII века в бытовом значении начинает употребляться слово *договор*. Если раньше таким документом фиксировались соглашения об установлении определенных правоотношений между княжествами, государствами, то теперь акт с таким названием утверждает взаимные обязательства между частными лицами.

С первой половины XVII века происходит все большая “демократизация” документов в том смысле, что они оформляются теперь в волостных, посадских, земских избах решения групп людей одного социального положения, “мира”. Так, распространяются *Мирские приговоры* – своеобразные договоры между неофициальными лицами с общим решением по определенному вопросу. Появляется жанр *Выбора*. Первоначально это слово встречается в упоминаниях о праве избирать из своей среды должностных лиц. В первом из подлинных документов видно, как избирают из “лучших торговых людей” помощников писцу и подьячему, а в следующем избирают уже самого подьячего. Интересно, что для называния документа этого же жанра, но содержащего просьбу о назначении своим руководителем духовного лица, употребляется слово *излюб* – с приставкой церковнославянского происхождения.

В первой половине XVII века завершается формирование русской документной системы, во второй происходит ее совершенствование, главным образом, за счет появления документов со сложными терминологическими названиями: *Статейная речь* (1645–46 гг.), *Установленный договор* (1649 г.), *Родословная роспись* (после 1659–60 гг.), *Похоронный обыск* (1666 г.), *Приемная расписка* (1678 г.), *Свободное письмо* (1688 г.) и мн. др. Отмечается дальнейшее разделение значения определяемого слова (называющего жанр) или основного определения к нему, выражающееся употреблением второго или даже третьего определения: *Таможенная выпись* (1623 г.), *Отпускная таможенная выпись* (1705 г.), *Таможенная зачетная вы-*

пись (1715 г.), *Проезжая память* (1629 г.), *Проезжая подорожная память* (1699 г.).

Новые жанры во второй половине XVII века почти не появляются, закреплению прежде появившихся способствует законодательное утверждение многих из них Соборным Уложением 1649 года. Тираж уложения в 2400 экземпляров позволил распространить этот свод законов, а вместе с ним и ряд названий наиболее существенных документов по всей территории Русского государства. Уложение, в частности, дало официальную жизнь таким новым документным жанрам второй половины XVI – первой половины XVII веков как *Выпись*, *Отписка*, *Расписка*, *Сказка*, *Явка* и др.

В новых исторических условиях вполне естественной оказалась утрата части тематических и иных разновидностей жанров.

Так, в Уложении не упомянуты знакомые по прежним Судебникам разновидности грамот: *Беглая*, *Бессудная*, *Вольная*, *Губная*, *Докладная*, *Жалованная волчая*, *Льготная*, *Полетная*, *Приставная*, *Срочная*, *Тарханная*, *Уставленная*, *Уставная*. Нет в Уложении *Разметных книг* и не упоминается *Поручная запись*, но в нем поддержаны традиции прежних Судебников и ни один из ранее сложившихся жанров не был утрачен, хотя происходили замены названий типов документов.

Эти лексические замены были обусловлены идеологическими обстоятельствами. В княжеской канцелярии письменное обращение нижестоящего лица к вышестоящему с просьбой решить поставленный вопрос называлось *Жалобой* или *Жалобницей*. Это подчеркивало как бы семейный характер взаимоотношений между князем и его подчиненными, метафорически изображало отношения в княжестве в виде феодального дома. При Иване Грозном обращение к вышестоящему лицу, а тем более к царю исключало подобную форму отношений, и не случайно тот же самый жанр просьбы реализовывался в документе с названием *Челобитная*. (Попутно можно заметить, что по идеологическим же обстоятельствам при Петре I существовал этот жанр документа, но с другим названием – *Прошение*, а в наши дни – это *Заявление*.)

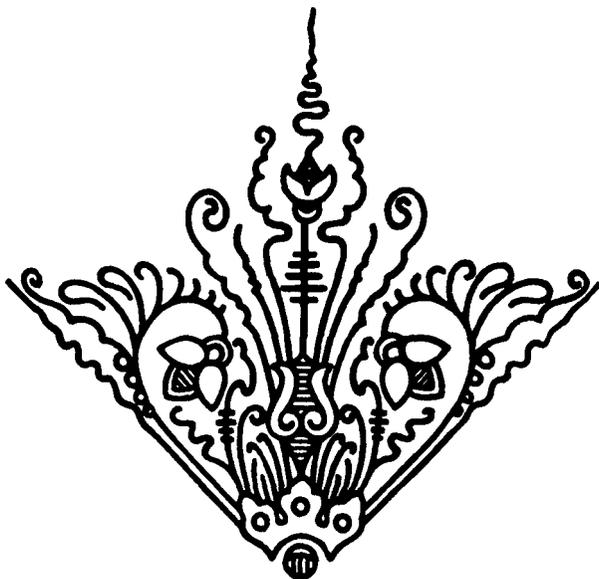
После Уложения новые наименования жанров почти не появляются, диалектные названия и местные формы документов утрачиваются в России примерно к середине XVII века. Однако в течение всего допетровского времени употреблялись документы, которые по характеру можно отнести к локализмам. Диалектные названия документов связаны с определенной территорией, зоной, локализмы же являются порождением специфических условий жизни, быта, не связанных с определенной территорией. Примером может служить *Отбой* – “документ, фиксирующий факт неподчинения властям”. Противодействие властям, естественно, не могло произойти в крупном городе, имевшем

значительные полицейские силы, но, например, в сельце, на погосте: поп да целовальник, да дьячек Салецкого погоста не смогли унять разъяренного дьякона, который “учинился силен (...) из воротец с ножом кидался” и сумели отреагировать на факт неподчинения лишь тем, что составили *Отбой* и отправили его начальству.

Вторая половина XVII века характеризуется тем, что в сложившейся в целом документной системе у слов-названий документов появляются новые, преимущественно специальные, профессионально-канцелярские значения. Таковы *Записка* – “документ удостоверительного или объяснительного содержания, который дается в сопровождение канцелярскому делу или же человеку” (1657 г.); *Расписка* – “внутриканцелярский документ: акт о приеме деловых бумаг” (1664 г.); *Выпись* – “делопроизводственная справка в виде перечня, ведомостей из разных документов, иногда с изложением их краткого содержания” (1666 г.); *Перепись* – “список, перечень документов” (1669 г.); *Роспись* – “смета, примерный расчет” (1689 г.). Новыми жанрами стали *Привод* – “документ протокольного характера, фиксирующий факты доставки подозреваемого на следствие” (1697 г.) и *Речи* – “текст официального выступления” (1665 г.).

Культурным итогом семнадцатого столетия в области деловой прозы можно считать сложение жанровой системы русского документа с достаточно четкими, продуманными, предметно соотнесенными именованиями текстов.





## ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ КАЛЕНДАРЮ С ИВАНОМ ШМЕЛЕВЫМ

М. С. БЕРСЕНЕВА,  
кандидат педагогических наук

### *Пасха*

С приходом весны христианский мир начинает готовиться к следующему большому празднику – *Светлому Христову дню* – *Пасхе*. Этому празднику предшествует масленица, а далее – *Великий пост*.

Масленица ушла... Дом убирают от бумажных цветочков и золоченых пряников. Один из героев “Лета Господня” Ивана Шмелева говорил о том, что в это время “душа начнется”, “душу готовить надо”, “говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться”. Приготовление к посту чувствовалось во всем: и в чтении “постных молитв”, и в убранстве дома: “зажгли постную, голого стекла лампаду, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи”.

Весенние заботы неразрывны с ожиданием Пасхи, они плавно и неизбежно переходят в предпраздничные хлопоты: изготовление па-

*сочек* – деревянных форм для сырной пасхи – обязательной творожной праздничной еды. Описывается и забытый обычай – выжигать кресты над дверями свечой, принесенной из церкви.

В ностальгических воспоминаниях И.С. Шмелева горнее всегда переплетается с дольным, земным. Пост у него – это и приготовление души, и праздник русской постной кухни. Автор красочно отобразил старомосковский “постный рынок”: “Самопервующая клюква! Архангельская клю-кыва!.. И синяя морошка, и черника – на постные пироги и кисели <...>

А вот капуста. Широкие кади на саях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнее <...>

А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут...”

Где-то ближе к концу поста наступает праздник *Благовещенья* (7 апреля) и совсем мало оставалось до Пасхи. Упоминание И.С. Шмелева о празднике “Вход Господень в Иерусалим” (в русской традиции это *Вербное воскресенье*) вводится короткой метафорой *прошла верба*.

В Москве в *Великую субботу* (день перед Пасхой) люди несут пасхи и куличи в картонках святить в храмы. В домах зажигают пунцовые лампы, пасхальные, иконы украшают цветами, на окошках выставляют “крашенные яйца в корзинках”. В церквях и домах звучат праздничные песнопения: “Воскресение Твое Христе Спасе... Ангели поют на небеси...” А в описании самого праздничного дня ключевым является слово *звон*: “Трезвон, перезвон, красный – согласный звон”. Звон – *красный*, Пасха – *красная*. Свечи – *красные*. Красное облачение священнослужителей, в красном в этот день и многие прихожане. Традиционно красный цвет считался пасхальным цветом. Повсюду слышны традиционные пасхальные приветствия: «лобызаются по три раза. “Христос Воскресе!”, “Воистину Воскресе...”, “Со Светлым Праздничком...” (Шмелев И.С. Указ. соч.).

Так сложилось на Руси, что праздник Пасхи стал главным праздником православных христиан. Первоначально *Пасха* (от др.-евр. *pesach* – прохождение) – была иудейским праздником в память исхода еврейского народа из Египта и избавления его от рабства. Распятие и Воскресение Христа произошли в пасхальные дни, поэтому христиане стали по-иному воспринимать этот праздник, а впоследствии христианская Пасха и иудейская стали праздноваться в разные дни. Для христиан Пасха – день одержанной Христом победы над смертью и властью греха, зла; день надежды на грядущую окончательную победу света над тьмой: “Христос воскрес, смертию смерть поправ!”. Празднование начинается в полночь, когда духовенство и миряне совершают торжественный крестный ход вокруг храма, с радостными песнопениями и зажженными свечами. Затем в храме служитя *Пасхальная заутреня*.

Вся пасхальная неделя называется *светлой седмицей* и считается одним праздником, отменяются постные дни, каждый день служится праздничная литургия с крестным ходом. После праздничного богослужения в ночь на Светлое Христово Воскресенье (или утром этого дня) народ приступает к праздничной трапезе – *разговенью*. Среди всевозможных блюд обязательны традиционные, которые готовятся специально к этому дню и накануне освящаются в церкви: *кулич* (от греч. “круглый хлеб”) – сладкий сдобный пшеничный хлеб, творожная *сырная пасха* и крашеные яйца. Обычай красить яйца – очень древний и в христианстве стал символизировать цветение жизни, победившей смерть.

В советское время возник обычай в день Пасхального воскресенья посещать кладбища. Но по церковному календарю день памяти усопших – вторник второй недели после Пасхи *Радунница*. На Светлой седмице, помимо похорон, заупокойные службы не положены: это знак торжества жизни: у Бога “все живы” (Евангелие от Луки. 20; 38).

Пасха празднуется после дня весеннего равноденствия и первого полнолуния (в первое воскресенье), при этом православная Пасха не должна совпадать или быть ранее иудейской, поэтому в разные годы она бывает в разные дни.





## Из истории термина *отчество*

И. А. КОРОЛЕВА,  
доктор филологических наук

Возможно, наша молодежь скоро вообще забудет, что означают, в русском языке *отчества*, поскольку используются они лишь в сугубо официальных ситуациях или при официальном обращении, и то лишь потому, что нет у нас сегодня общепринятого обращения к мужчине, женщине (*господин* и *госпожа* еще непривычны, *сударь* и *сударыня* не приживаются). Практически вся российская пресса дружно взялась за своего рода “демократизацию” традиционного русского именованья, как говорится, невзирая на возраст и общественное положение называемых.

Нужна ли такая вольность в использовании русских отчеств? Вернее, в их системном неиспользовании? Сейчас все меняется, так может, стоит и русского человека иначе именовать? По западному стандарту, без отчеств? Не следует спешить. Сначала неплохо бы ознакомиться с историей отчеств на Руси, вспомнить, что такое отчество, для чего оно служило.

В древнерусских источниках не разграничивались по значению самостоятельные современные лексемы *отчество* и *отечество*. Памятники письменности засвидетельствовали различные фонетические варианты уже с XI века: *отьчество*, *отьчьство*, *отчество*, *отечество*.

Различны были и значения, например, “родина, отечество”; “наследственные, родовые права”; “происхождение, рождение”; “состояние отца, отцовство”; “отеческая честь, достоинство”; “свойства отца”, “звание духовника”, “избранная страна”, “родовое владение, доставшееся по наследству от предков”. Значение же “именование по отцу” до XVII века не отмечено ни в “Материалах для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского, ни в “Словаре русского языка XI–XVII вв.”.

Впервые оно появляется в актовых текстах первой трети XVII века: “А после того молвил: “и царь, государь”, а именем де государя, царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Руси и отечеством не назвал” (Акты Московского государства, 1623 г.).

Следует указать, что, судя по материалам Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв., частота употребления слова *отчество* (*оте-*

чество) в памятниках письменности XVII века невысока – представлены всего четыре иллюстративных примера: “Данской казак Степан, а отчества ево не ведаю... отца не знаю” (Донские дела, 1659 г.).

Как синоним, указывающий на отца именуемого, в это время встречается выражение *с отцы*: “... переписать имяны с отцы и прозвищи...” (Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства в XVI–XVII вв. Харьков, 1886. Т. XXI).

Возрастает активность слова *отчество* в XVIII веке, хотя на протяжении всего столетия *отчество* и *отечество* по-прежнему взаимозаменяемы. Так, весьма активны оба варианта в значении “родина”: “Петр Великий, отец отчества, государь всемилостивейший” (1724 г. Московский суконный двор // Крепостная мануфактура в России. Л., 1934. Ч. V); “... и в наше любимое отчество возвратися” (Приклады како пишутся комплементы разные на немецком языке. М., 1712); “Родное отчество мне люблю” (История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии. СПб., 1773) и др.

И лишь к концу XVIII века мы наблюдаем дифференциацию значений для разных вариантов одного и того же древнерусского слова: *отчество* и *отечество* становятся самостоятельными. За первым закрепляется значение “именование по отцу”, а за вторым – “родина, отчизна”, которое становится главным.

Процесс образования самостоятельных слов *отчество* и *отечество* и закрепление их главных значений отражен в лексиконах и словарях XVII–XIX веков.

Так, в одном из самых полных лексиконов XVII века – Лексиконе Памвы Беринды варианты одной лексемы представлены еще как взаимозаменяемые и с двумя значениями: *отечество*, *отчество* – “отцовство”, “отчизна” (Лексикон словенороський Памви Беринди. Киев 1627. Издан: Киев, 1961). Мы видим, и это подтверждают памятники письменности: в первой трети XVII века значение “именование по отцу” еще не представлено – пока оно лишь единично засвидетельствовано в памятниках деловой письменности.

Лексиконы XVIII века слова *отчество* и *отечество* подают по-разному. Например, в начале века в Лексиконе Ф. Поликарпова фонетические варианты еще так же не разграничиваются, а их значения передаются через синонимы: “*отечество*, *отчизна* – *patria*, *patrie* (лат.), *отечество*, *отчество* – *paternitas* (лат.)” (Поликарпов Ф. Лексикон трязычный... М., 1704).

Во второй же половине XVIII века лексиконы уже отмечают значение “именование по отцу”, которое, как мы уже указали, стало активно использоваться в памятниках письменности самых разных жанров, а также делают попытки дифференцировать варианты *отчество* и *отечество*, хотя и не всегда последовательно.

В частности, в Лексиконе И. Геснера находим только слово *отечество* как перевод латинского соответствия, но с разными значениями: “отчизна, отечество по воспитанию (лат. *patria*)” и “отечество по родству (лат. *paternitas*)” (Лексикон латинский с Геснера этимологического лексикона на русский язык переведенный в Императорском университете. М., 1767). Похоже представлено слово *отечество* (вариант *отчество* отсутствует) у И. Нордстета: “*отечество* – нем. *das Vaterland*, *отечество* – франц. *la patrie*”.

В Российском Целлариусе имеются оба слова и подаются они раздельно со значениями: *отчество* “название по отцу”, *отечество* – “отчизна” (М., 1771).

Однако следует, безусловно, отметить, что в конце XVIII века процесс разделения вариантов, образования самостоятельных слов с различными значениями (*отчество* и *отечество*) еще не нашел окончательного закрепления в лексикографии.

Так, в первом толковом Словаре Академии Российской мы находим единую словарную статью: “**Отечество**, сокращенно же *отчество*: 1. Страна, государство, место рождения чьего. 2. Название, имя отцовское к имени сына или дочери прилагаемое” (Словарь Академии Российской. СПб., 1789–1794. Т. IV).

Впервые же четко и достаточно строго в семантическом плане слова *отчество* и *отечество* как с а м о с т о я т е л ь н ы е и с г л а в н ы м и современными значениями представлены во втором издании Словаря Академии Российской в начале XIX века: *отчество* – “название отцовское к имени сына или дочери придаваемое с прибавлением на конце слогов *въ, нъ, чъ*, а в женском роде *ва* или *на*”; *отечество* (*отечествие*) – “страна, государство, место рождения чьего” (Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806–1822. Т. IV).

Отметим попутно, что слово *отчество* со значением “именование по отцу” в конце XVIII века закрепляется в актовых документах канцелярий, в разнообразных письмовниках (различные списки, ведомости, реестры, аттестаты и др.). В деловых бумагах появилась рекомендация заполнять графы *Имя, Отчество, Прозвание (Фамилия)*.

Закреплены самостоятельные слова *отчество* и *отечество* и их главные значения в Словаре 1847 года: *отчество* – “название по отцовскому имени с изменением его окончания в мужском роде на *овъ, вичъ, инъ, ичъ*, в женском на *ова, вна, ина, ишина*; *отечество* – “государство в отношении к тому, кто в нем родился или сделался подданным”. Это значение для слова *отечество*, которое представлено как многозначное, стало основным (Словарь церковнославянского и русского языка. СПб., 1847. Т. III).

В дальнейшем все лексикографические труды, включая и последние толковые словари, представляют *отчество* отдельно от слова

*отечество* и с единственным значением, которое закрепилось и в антропонимии: *отчество* – “наименование по отцу, состоящее из имени отца и окончаний *ович, евич (овна, евна)* или *ич (ична)* и прибавляемого обычно к собственному имени” (Словарь русского языка. В 4 т. М., 1983. Т. II).

Выражение *съ отцы* в значении “именование по имени отца” ушло из языка. С такой семантикой для разговорной речи XIX века было характерно выражение *по батюшке*: “Как, бишь, ее зовут? – спросил Базаров. – Фенечкой... Федосьей, – ответил Аркадий. – А по батюшке? ... Это тоже нужно знать. – Николаевной” (Тургенев. Отцы и дети). В настоящее время этот оборот встречается в речи жителей сельской местности, особенно старшего поколения. Современные толковые словари иллюстрируют выражение *по батюшке* только примерами из литературы XIX века, отмечая его как просторечное (Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М.–Л., 1950–1965. Т. I).

Интересна и непроста история, казалось бы, обычного слова *отчество*, которое А.Г. Преображенский в своем этимологическом словаре толкует красиво и торжественно – “величание по имени отца” (Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. 1). До сих пор известен глагол *величать* “называть по отчеству”, который, правда, устаревает (Словарь русского языка. В 4 т. М., 1981. Т. I).

Мы не рассматриваем историю появления и бытования русских отчеств – это тема специальной статьи, но надо ли отрекаться от наших корней – от этого “генного кода”, передающегося из поколения в поколение? Ведь русская культура оставила нам прекрасную традицию – величать друг друга, оказывая этим уважение не только нам, но и нашим предкам.

Смоленск

## Топонимика

**Городец, Слобода, Сельцо, Починок...**

О. Н. БОЙЦОВ

В топонимии Смоленского края до настоящего времени сохранилось большое количество наименований населенных пунктов, в которых нашли отражение названия существовавших в прошлом тех или иных типов поселений. Возникая, эти поселения порой закрепляли за собою в качестве имени собственного само наименование типа поселения. Н.И. Костомаров отмечал: “Жилые местности на Руси были: город, пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок” (Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., 1993). Нередко у деревни или села не было никакого названия – “просто деревня и все тут. В отдаленную пору ее жители и не нуждались в особом названии, существуя почти замкнутым миром, еле связанные с большим миром. Когда же в ряду других деревень название потребовалось, имя нарицательное, означавшее род объекта, приняло функции отсутствующего собственного” (Никонов В.А. Введение в топонимику. М., 1965).

Смоленщина, с ее глубокой и многогранной историей, представляет целый ряд типов поселений, которые возникали в разное, иногда достаточно древнее, время. Многие из этих названий, являющихся именами нарицательными, с течением времени превратились в собственные имена – топонимы: *городец, городок, слобода, воля, погост, село, поселок, сельцо, деревня, выставка, выселки, починок, займище, острог, хутор* и др.

Среди названий населенных пунктов края можно выделить достаточно большую группу топонимов с основой *-город-*. Как известно, слово *город* первоначально означало огороженное место. Об этом свидетельствуют данные “Словаря русского языка XI–XVII вв.” (далее СлРЯ XI–XVII вв.): “*город- 1. Ограда, крепостная стена, линия укреплений.* (1224) {...} *Временное укрепление.* (1149) {...} *Осадное сооружение.* (1323) {...} 2. *Укрепленное поселение, крепость.* (988) {...} *Внутренняя укрепленная часть города, кремль.* (1402) {...} *Часть города за особой оградой, стеной*”. В значении “крупный населенный пункт, город; город и его волость, уезд; население города” слово *городь* фиксируется в памятниках деловой письменности в XVI–XVII веках (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4).

Топонимы *Городец, Городцы* образовались от основы *городец*. Уменьшительное от *город* слово *городец* известно в памятниках пись-

менности уже с XIII века со значением “небольшой укрепленный город” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4). Оно сохраняется в русском языке в течение длительного времени, на что указывает словарь В.И. Даля, фиксируя его с расширенной семантикой: “городок, крепостца, укрепленное тыном местечко, селение” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1999. Т. I). Таким образом, *городец* – это уже не только укрепленный город, но и вообще селение. В русских народных говорах к указанным значениям в СлРЯ XI–XVII вв. и у Даля добавляется “старое городище. Влад., Яросл.” (Словарь русских народных говоров. М.–Л., 1965–... Вып. 7; далее СРНГ).

Топоним *Городецкое* связан уже не непосредственно со словом *городец*, а с образованиями от последнего – *городецкий*, *городецкое* (относящиеся к *городу*). Таким образом, топонимы с названиями *Городец*, *Городецкое*, вероятно, возникли на месте бывших укрепленных или на старых городищах. Топоним *Городцы*, возможно, указывает на сосредоточение в прошлом нескольких таких поселений.

Слово *городище* перешло в разряд имени собственного без всяких структурных изменений и зафиксировано в топонимии края как *Городище*. Исходный апеллатив имеет характерный суффикс *-ищ(е)*, который первоначально использовался в русском языке со значением “место, где находилось или происходило что-либо” (например, *пожарище* – “место после пожара”). Значение “городище с остатками города, крепости” фиксирует СлРЯ XI–XVII вв. (Вып. 4) с XVI века. В XVII веке, по данным этого же словаря, *городищем* уже называют укрепленное поселение, городок. Именно такие укрепленные земельными валами селения характерны для древнего периода истории Смоленского края, например, “мертвый” город Вержавск, на месте которого сохранилось городище со следами земляного вала (Демидовский р-н), Касплянское городище (Смоленский р-н) и др. (Махотин Б.А. К живым истокам. Смоленск, 1989). О древности таких поселений говорит и тот факт, что топонимы с суффиксом *-ищ(е)* являются очень старыми славянскими образованиями, следовательно, и уже указанные топонимы с этим суффиксом относятся к очень древним (Рогонова Р.С. Топонимия Брянской области. Диссертация к. филол. н. Брянск, 1991).

Топоним *Городня*, вероятно, связан со словом *городня* в значении «”ограда, стена”. (1664)» (Сл РЯ XI–XVII вв. Вып. 4). Даль также указывал на слово *городня* как на название типа укрепления – “срубы, насыпанные землею или камнями для ограды, укрепления или в виде быков, устоев под мостами, также сваи, а ныне, забор или залот стойком” (Даль. Т. I). Однако в живых смоленских говорах слово *городня* приобрело совершенно иное значение: “земля, занятая под огород”, связанное с сельскохозяйственной деятельностью (Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1988. Т. 3). Возможно, это значение восходит

к первичному значению слова *огород* “огороженное место”. Топонимы *Городна, Городно*, очевидно, по своей семантике близки к *Городня*.

Название *Городная* возникло на базе прилагательного *городной* “городской”, образованного от *город* и известного в письменности с XIII века (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4).

Многочисленны на Смоленщине топонимы *Городок*. СлРЯ XI–XVII вв. фиксирует *городок* в значении “населенный пункт, городок” с XV века; значения “укрепление, ограда, укрепленное поселение, огражденный участок земли” относятся к XVII веку (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4). Даль, обозначая *городок* как острог, острожек, укрепленное тыном заселение, добавляет: “большое, богатое село, с несколькими церквями” (Даль. Т. I). Эти же значения фиксируются и в современных говорах (СРНГ. Вып. 7).

Топонимы *Городчанка, Городянка, Горожанка, Горожанское* возникли на базе словообразований от *город* с разными его значениями. Судя по данным СлРЯ XI–XVII вв. (Вып. 4), слово *горожанка* “жительница города” известно в русском языке с XVII века. Однако утверждать, что именно оно послужило основой для образования данных топонимов, мы не можем.

Большое количество названий населенных пунктов с корнем *-город-*, несомненно, говорит о том, что в древности такой вид укрепленных поселений, как город, был очень популярен. Не случайно скандинавские (варяжские) купцы и дружинники, побывавшие в здешних краях, назвали впервые увиденную ими землю *Гордарикой* – “страной городов” (Махотин. Указ. соч.).

На территории Смоленского края нами отмечено около ста населенных пунктов, в которых основой названия является слово *слобода*. О широком распространении в прошлом слободских поселений на территории говорит Б. Махотин, отмечая, что такие поселения, пользовавшиеся определенными привилегиями, в том числе такими, как временное освобождение от уплаты налогов и других повинностей, существовали еще в Древней Руси (Махотин. Указ. соч.).

С названием *Слобода* зафиксировано 45 сел и деревень, современных и бытовавших в прошлом; с названием *Слободка* – 9. Кроме того, существовало и существует много слободских селений со словами-определениями, указывающими на: 1) принадлежность кому-либо, – деревни *Аннина Слобода, Ануфриева Слобода, Аргунова Слобода, Астапова Слобода, Власова Слобода, Гольцева Слобода, Екимова Слобода, Ивлева Слобода, Кудина Слобода, Лещина Слобода, Пнева Слобода, Теишкина Слобода, Подмонастырская Слобода*; 2) на специализацию поселений – деревни *Слесарева Слобода, Служительская Слобода, Ямская Слобода* (2); 3) относительный возраст – *Старая Слобода, Новая Слобода, Ново-Слобода, Ново-Слободка*; 4) размер

– *Большая (Малая) Слобода*; 5) на географическое положение – деревни *Высокая Слобода*, *Слобода Заречная*; 6) порядковый номер – *Первая (Вторая) Слобода*; 7) на символику революционных перемен XX века, *Красная Слобода* (4). К этой же группе относятся названия с характерным суффиксом *-ищ(е)* населенных пунктов, возникших на месте слобод и слободок – деревня *Слободище* (3).

Как отмечал Н.И. Костомаров, “на Руси встречались слободы трех видов: служилых людей, промышленников и, наконец, вообще поселян, пользующихся льготами. К слободам служилых людей относились стрелецкая, пушкарская, пищальная, затинцово, воротников, казачьи, ямские. В них были поселены служилые люди одного какого-нибудь наименования, которые составляли корпорацию и исполняли определенную служебную обязанность в отношении правительства...” (Костомаров. Указ. соч.).

Исконным значением слова *слобода* является “село свободных людей”. Отсюда, *слобода* – “свобода”, *слободный* – “свободный” (Даль. Т. IV). На этимологию этого слова указывал и Фасмер, отмечая, что древнерусское *слобода* получено путем диссимиляции *в-б* → *л-б* из *свобода* “поселение свободных людей” (Фасмер М. этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III). Со временем *слободой*, как указывал Даль, стали называть “пригородное селение, подгородный поселок, за *городом*, т.е. за стеною, род посада. // Ныне большое село, где более одной церкви, и торг или ярмарка, либо волостное правление, род сельской столицы; также промышленное, фабричное село, где крестьяне почти не пахут”. Отсюда, *слободчиком* называют жителя слободы или вообще “вольного, не приписанного к земле человека” (Даль. Т. IV). В смоленских говорах встречается *ослобонить* (“освободить”).

Аналогами названий слободских селений являются топонимы с корнем *-воль-*: поселки *Вольняки*, *Вольщина*, *Воля*, деревня *Вольная Слобода* (бывшие населенные пункты Смоленщины). Как замечал В.А. Никонов, ареалом распространения топонимов с этим корнем являются западные области. Многочисленны они в Польше, на западе Украины.

На Смоленщине существовало два населенных пункта с названием *Погост* (село – до 1959 г. и деревня – до 1966 г.). Древнейшее слово *погост* было в свое время многозначным (см. СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 15). Его современное значение фиксируется памятниками письменности лишь с XVII века. Но уже с XII–XIII веков в семантику апеллятива *погост* включается обозначение церковного прихода, поселения с церковью; с XV века – церковь с кладбищем и дворами причта. Около таких поселений, по замечанию Н.И. Костомарова, чаще всего “сосредоточивались сношения окрестных жителей и устанавливался административный центр”. Возможно, значимость таких поселений-погостов и привела к тому, что они закрепились в топонимии.

Топонимы *Село* (2), *Сельцо* (16 деревень, 1 поселок), *Селище* (10 деревень, 2 села, 2 поселка) восходят к слову *село*. *Селом* в прошлом называли “обстроенное и заселенное крестьянами место, в коем есть церковь; иногда *село* состоит из многих, раскинутых деревенок, приписанных к одному приходу”. *Сельцом* называлась “деревня, селение, особенно барское, более где барский дом” (Даль. Т. IV). То есть, различие между селом и сельцом заключалось только в их величине. Слово *селище*, стоящее в основе топонима *Селище*, обозначало “весьма большое село, слободу, где более одной церкви // всякое поселение, селитьба”. Оно имеет также значение “гладко выгоревшее или уничтоженное, снесенное селение, остатки жилого места” (с рассмотренным уже суффиксом *-ищ(е)*). С пометой “*стар.*” *селище* имеет значение “жилая земля, поле, пашня; место поселения с землей” (Даль. Т. IV). Возможно, к этой группе топонимов относятся и такие, как *Селиба* (3), *Новая/Старая Селиба*, *Селибки* (4) (см. *селиться*, *сельбище* у Даля). Топонимы *Новое Село*(2), *Старое Село*(2), помимо указания на тип поселения, отмечают их относительный возраст.

Топоним *Поселок* (2 деревни, одна из которых просуществовала до 1943 г., другая – до 1976 г.) восходит к слову *поселок* – “небольшая деревенька, деревушка; засе́лок или в́иселок, новосёлки; отделившиеся, по тесноте или дальности угодьев от коренного селения крестьяне, и поселившиеся на новом месте, вблизи, на пустошах общих земель” (Даль. Т. III).

На Смоленщине в прошлом бытовало два довольно интересных топонима: деревни *Деревенск*, *Деревенька*. Ныне существуют деревни *Деревеньщики*, *Старая Деревня*. Слово *деревня*, от которого образованы топонимы, имело одним из значений “расчищенное под пахоту место, пашня, угодье” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4). С подсечным земледелием связано значение апеллятива *дзярэуня*, отмеченного на территории Белоруссии, – “поселение в лесу на высеченном месте”, с пометой “*стар.*” (Яшкин И.Я. Белорусские географические названия. На белорусском языке. Минск, 1971). Со значением “пахотная земля и другие земельные угодья (Волог.) // пустошь” (Волог., Арх., Даль) *деревня* фиксируется и в русских народных говорах. В этом случае вполне логично выражение “пахать деревню” (Махотин. Указ. соч.).

Другим, более известным, значением слова *деревня* является “поселение в один или несколько дворов с прилегающими к нему угодьями” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4). Стоит добавить, что *деревней* являлся населенный пункт без церкви, в отличие от сел или погостов.

Интересен топоним *Деревенск* с точки зрения суффиксального оформления. Традиционно суффикс *-ск-* в русской топонимике образует “городской” топонимический тип, т.е. так оформляются названия городов (*Омск*, *Смоленск*, *Брянск*, *Пинск* и др.). Возможно, дерев-

ня получила такое название вследствие какой-то особой значимости этого поселения.

Топоним *Деревеньщики* образован путем прибавления к топооснове *-деревн-* (*-деревен-*) суффикса *-щик-* со значением “лицо по роду деятельности” (ср. *каменщик*, *экскаваторщик*). Возможно, топоним *Деревеньщики*, основой которого стал аппеллятив *деревенщик* со значением “человек, работающий на пашне”, отражает как раз более забытое значение слова *деревня*.

Выделяется группа поселков, сел, деревень с названиями *Починок* (28, из них 12 существует сейчас), *Новый/Старый Починок* (до 1965), *Починки* (сейчас есть одна деревня). Все они восходят к слову *починок* со значением “новое поселение, деревенька на вновь расчищенном месте”, зафиксированному в XIV веке (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 18). У В.И. Даля слово *починок* образовано от *почин* в значении начало или закладка новой пашни в лесу, а с него и заселения выселок, новоселок, выселки. Это коренное русское хозяйство, *починковое*, расчистка и выжог лесу из селения начинают выселяться на *починки*” (Даль. Т. III). Таким образом, поселения с названиями *Починок*, *Починки* возникли там, где шла обработка земли под пашню и где крестьяне-земледельцы, образуя поселения, “починали” обрабатывать землю и создавать селения.

Название деревни *Починичи* образовалось, возможно, от слова *починичи* с характерным суффиксом *-ичи*, который обозначает, по замечанию В. Ташицкого, обитателей по территориальному признаку *починичи* от *починок*, т.е. “жителей починка”, например, наименование древнерусских племен *дреговичи* от *дрегва* “болото” (Taszycki W. “*Język polski*”. 1936. № 1).

Топонимы *Выселка*, *Выселки* образованы от слова *выселок*, которое фиксируется по памятникам письменности с XVII века со значением “поселок на новом месте, выделившийся из другого селения, выселок” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 3). Даль отмечал глаголы *выселять*, *выселить* со значением “переселять, выводить или переводить с одного места жительства на другое {...} *выселки* мн. поселки, новоселки из близких выходцев, отделившихся и занявших пустошь или заполье”. В настоящее время *выселки* как местный географический термин отмечается в значении “небольшой населенный пункт, отделившийся от крупного села; хутор” (Воронежская обл.; Мурзаевы Э. и В. Словарь местных географических терминов. М., 1959).

Топонимы *Выставка*, *Выставка Зеленая*, *Выставка Простая* восходят к исходному слову *выставка*, которое фиксируется с XVII века уже как многозначное, одно из значений которого “отдельный двор или поселок, вынесенный за пределы основного поселения (обособившееся хозяйство, выселки)” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 3). В наше время этот аппеллятив является местным географическим термином, о

чем свидетельствует указанный Словарь Мурзаевых. Значение “сельцо, хутор, ряд изб” дается без указания места, но авторы ссылаются на то, что “с. Выставка Новг. обл., видимо, получило, свое название от этого термина” (Мурзаевы. Указ. соч.). Это значение близко к значению слова *выселки*.

Топонимы *Займище*, *Займовка* возникли из *займище*, впервые зафиксированного в памятниках письменности со значением “участок земли (вдали от деревни, вне общественных земель), занятый кем-либо для сельскохозяйственного использования” (1555 г.). В значении “отдельная усадьба, а также небольшой поселок за пределами основного селения” слово *займище* относится к XVII веку (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 5). Со временем, исходя из данных словарей, *займищем* стали называть “место, занятое под распахку, расчистку; отхожие пустоши и леса, занимаемые местами под пашню и покосы” (Даль. Т. I). Таким образом, значение “небольшой поселок за пределами основного селения”, зафиксированное по памятникам письменности в XVII веке и не отмеченное в более поздних источниках, отражено в топонимии в виде сохранившихся поселений, свидетельствующих об их древнем виде.

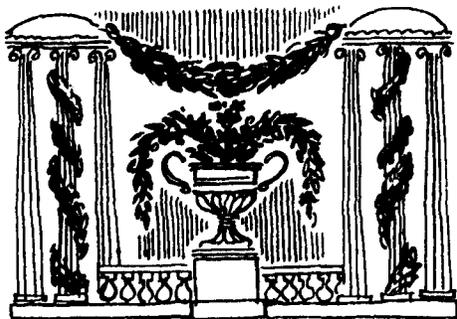
Представляет интерес слово *острог*, от которого возникла группа топонимов Смоленского края – *Остроги*, *Острожки*, *Острожники*, *Острожок*. Первая фиксация слова *острог* восходит к XI веку со значением “часть кола, палисад из заостренных сверху бревен, плотно пригнанных друг к другу и вбитых в землю” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 13). К этому же времени относится и значение “укрепление, крепость”. К середине XII века *острогом* стали называть и “внешнюю крепость в противовес детинцу”. Но позднее, в частности, Даль, помимо указанных в СлРЯ XI–XVII вв. значений, приводил следующее: “первое поселение на Севере и в Сибири // тюрьма, арестантская, здание, окруженное острогом или стеною, где содержат узников, заключенников, тюремный замок (острожники)” (Даль. Т. II). В СРНГ *острог* отмечен только в значении “тюрьма, острог”. Следовательно, топоним *Острожники*, вероятно, возник в результате поселения в этих местах бывших ссыльных или заключенных, тем более что возникновение этой деревни, по сведениям систематических списков, относится к 1904 году (Административно-территориальное устройство Смоленской области: Справочник, М., 1981). Другие топонимы рассматриваемой группы фиксируются 1811 годом. Деревни с этими названиями существовали, конечно, и раньше и своим возникновением обязаны тем временам, когда *острогами* называли укрепленные поселения.

Названия деревень *Хутор*, *Хутор Петровский*, *Хутор Покровский*, *Хутора*, *Хуторок*, *Хуторы*(2), пос. *Хутора Владимирские* образованы на базе исходного для них слова *хутор*, которое обозначало “обособленное крестьянское хозяйство с усадьбой”; на Украине и на юге России – “загородный дом с садом и угодьями”. Это слово за пре-

делами восточнославянского языка не употреблялось. Произошло, по-видимому, из говоров. В словарях общерусского языка оно отмечается лишь с конца XVIII века (САР. 1794. Т. VI). Но еще в XIX веке это слово считали областным. С пометой “обл.” оно отмечается в словаре 1847 года (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. II). По Далю, *хутором* называется “пустошная – усадьба, отводная усадебка, отдельный дом, изба, с ухажми, со скотом и сельским хозяйством” (Даль. Т. IV). Таким образом, *хутор*, как тип поселения, не являлся в прошлом широко распространенным на славянской территории, о чем свидетельствуют данные словарей. Фиксация этого слова в качестве топонима на территории Смоленщины свидетельствует о распространении здесь такого типа поселений. Следует добавить, что большинство поселений с рассмотренными названиями, образовалось в первой половине XX века. Возможно, это связано с определенными социальными изменениями этой эпохи. Название деревни *Хутор Петровский*, которая упоминалась еще в XIX веке, указывает, скорее всего, на принадлежность этого хутора хозяину.

Таким образом, топонимы, которые появились от наименований типов населенных пунктов Смоленского края, существовавших в прошлом, отражают историю, социальные пласты того времени, исследователям языка они помогают восстановить ареал тех или иных слов, исчезнувших из современного употребления, или проследить эволюцию сохранившихся.

Смоленск



*Пословицы и притчи  
в “Мертвых душах” Н.В. Гоголя*

*В. А. ВОРОПАЕВ,  
доктор филологических наук*

С самого начала “Мертвые души” были задуманы Гоголем не только как литературное, но и важнейшее общественное дело, причем дело общерусское, общенациональное. «Начал писать “Мертвых душ” (...), – сообщал Гоголь Пушкину 7 октября 1835 года. – Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь». Много позднее, в письме к Василию Андреевичу Жуковскому 1848 года Гоголь пояснял замысел своего творения: “Уже давно занимала меня мысль *большого сочиненья*, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы перед нами видней свойство нашей русской природы”.

Воплощение такого грандиозного замысла требовало и соответствующих художественных средств. В эстетике Гоголя народные песни и пословицы – важнейшие источники самобытности, из которых должны черпать вдохновение русские поэты. Невозможно понять “Мертвые души” без учета фольклорной традиции и в первую очередь пословичной стихии, пронизывающей всю ткань поэмы.

“Чем более я обдумывал мое сочинение, – писал Гоголь в “Авторской исповеди”, – тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатались истинно русские, коренные свойства наши”. И поскольку в русских пословицах и поговорках наиболее полно выразились важнейшие особенности национального характера, человеческие качества, одобряемые народом или отвергаемые им, в “Мертвых душах” “пословичный” способ обобщения стал одним из важнейших принципов художественной типизации. Чем более обобщенный

вид принимают образные картины и характеристики персонажей, в которых Гоголь выражает сущность того или иного явления, ситуации или человеческого типа, тем более они приближаются к традиционным народно-поэтическим формулам.

Характер Манилова – помещика “без задора”, пустопорожного мечтателя – “объясняется” через пословицу: “Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы”. Медвежья натура Собакевича, имевшего “крепкий и на диво стаченный образ”, в хозяйстве которого все было “упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке”, находит свое итоговое определение в пословичной формуле: “Эк наградил-то тебя Бог! Вот уже точно, как говорят, неладно скроен, да крепко шит...”

Характеры эпизодических персонажей поэмы порою полностью исчерпываются пословицами или пословичными выражениями: “Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хотя бы в рот хмельного”. Заседатель Дробяжкин был “блудлив, как кошка...” (Ср.: “Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц” – Собрание 4291 древней российской пословицы. 1770 г.). Мижуев был один из тех людей, которые, кажется, никогда не согласятся “плясать по чужой дудке”, а кончится всегда тем, что пойдут “поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, словом, начнут гладью, а кончат гадью”.

Гоголь любил выражать заветные свои мысли в пословицах. Идея “Ревизора” сформулирована им в эпитафии-пословице: “На зеркало неча пенять, коли рожа крива”. В сохранившихся главах второго тома “Мертвых душ” важное значение для понимания авторского замысла имеет пословица: “Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит”. “Известно, – говорил Гоголь, – что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия”.

Вводя пословицы в художественную ситуацию “Мертвых душ”, Гоголь творчески использует заключенный в них смысл. В десятой главе почтмейстер, сделав предположение, что Чичиков есть “не кто другой, как капитан Копейкин”, публично сознался, что совершенно справедлива поговорка: “Русский человек задним умом крепок”. “Коренной русской добродетелью” – задним, “спохватным”, покаянным умом в избытке наделены и другие персонажи поэмы, но прежде всего сам Павел Иванович Чичиков (Ср.: “Русский ум – задний ум. Русский ум – спохватный ум” – Князев В. Сборник избранных пословиц, поговорок, поговорок и прибауток. Л., 1924. С. 83).

К этой пословице у Гоголя было свое, особое отношение. Обычно она употребляется в значении “спохватился, да поздно” и крепость

задним умом расценивается как порок или недостаток. В Толковом словаре Владимира Даля находим: “Русак задом (задним умом) крепок”; “Умер, да задом”; “Задним умом догадлив”. В его же “Пословицах Русского народа” читаем: “Всяк умен: кто сперва, кто опосля”; “Задним умом дела не поправишь”; “Кабы мне тот разум наперед, что приходит опосля”. Но Гоголю было известно и другое толкование этой поговорки. Так, известный собиратель русского фольклора первой половины XIX века Иван Михайлович Снегирев усматривал в ней выражение русского склада ума: «Что Русский и после ошибки может спохватиться и образумиться, о том говорит его же пословица: “Русский задним умом крепок”» (Снегирев И. Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. Кн. 2. М., 1832. С. 27); “Так в собственно Русских пословицах выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, особенность воззрения (...) Коренную их основу составляет многовековой, наследственный опыт, этот *задний ум*, которым *крепок* Русский...” (Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи. М., 1995/Репринтное воспроизведение издания 1848 года. С. XV. Заметим, что глубинный смысл этой народной мудрости ощущался не только в эпоху Гоголя. Наш современник, писатель Леонид Леонов замечал: “Нет, не о тугодумии говорится в пословице насчет крепости нашей задним умом, – лишний раз она указывает, сколь трудно учесть целиком все противоречия и коварные обстоятельства, возникающие на просторе неохватных глазом территорий”).

В размышлениях Гоголя о судьбах родного народа, его настоящим и историческом будущем “задний ум или ум окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек”, является тем коренным “свойством русской природы”, которое и отличает русских от других народов. С этим свойством национального ума, который сродни уму народных пословиц, “умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени (...) и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков”, Гоголь связывает высокое предназначение России.

Для поэтики “Мертвых душ” особенно характерен язык художественных ассоциаций, скрытых аналогий и уподоблений, к которому постоянно прибегает автор. В анекдотических ситуациях, “вставных” эпизодах, пословицах и поговорках Гоголь рассыпает “подсказки” читателю. Но всего этого ему как будто кажется недостаточным. Наконец, содержание первого тома он обобщает в маленькой лаконичной притче, сводя все многообразие героев поэмы к двум персонажам: «Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого,

проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: “Вот, например, зверь, – говорил он, ходя по комнате, – зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того совсем не поймешь природы, как побольше в нее углубишься!” Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич».

Не случайно Кифа Мокиевич занят философическим вопросом о рождении зверя из яйца. Этот гоголевский образ очень хорошо “укладывается” в известное пословичное выражение о “выеденном яйце” и создан, в сущности, как развертывание этого выражения, как реализация заключенной в нем метафоры. В то время как “теоретический философ” Кифа Мокиевич занимается разрешением вопроса, не стоящего и выеденного яйца, его сын, богатырь Мокий Кифович, проявляет себя соответствующим образом на поприще практической деятельности.

“Был он то, что называют на Руси богатырь, – говорится в притче о Мокии Кифовиче, – и в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве всё, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович...”

Образ Мокия Кифовича также восходит к фольклорной традиции. В одном из черновых вариантов притчи, где этот персонаж назван еще Иваном Мокиевичем, Гоголь прямо указывает на народно-поэтический первоисточник образа: “Обращик Мокиевича – Лазаревич...” (имеется в виду “Повесть о Еруслане Лазаревиче”. – В.В.). В основу образа Мокия Кифовича положены черты этого сказочного героя, ставшего символом русского национального богатыря: “И как будет Уруслан десяти лет, выдет на улицу: и ково возмет за руку, из того руку вырвет, а ково возмет за ногу, тому ногу выломат”.

Традиционный эпический образ, широко известный по народным источникам, Гоголь наполняет нужным ему “современным” смыслом. Наделенный необыкновенным даром – невиданной физической силой – Мокий Кифович растрчивает его попусту, причиняя одно беспокойство и окружающим, и самому себе. Понятно, что речь в притче идет не об отрицании свойств и особенностей ее персонажей, а скорее об их недолжном проявлении. Плохо не то, что Кифа Мокиевич мыслитель, а Мокий Кифович – богатырь, а то, как именно они используют данные им от природы свойства и качества своей природы. “Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? –

воскликает автор в патетическом размышлении о Руси. – Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?”.

Завершая первый том поэмы, Гоголь недаром обращается к индизказательной форме притчи. “Красна речъ с притчею”, – гласит русская пословица. В контексте всего первого тома гоголевская притча приобретает особое, ключевое значение для восприятия поэмы. Здесь сказалось влияние Священного Писания на мышление Гоголя. Вспомним, что Иисус Христос отверзал уста свои в притчах, то есть в кратких рассказах, сюжеты которых брались из повседневной жизни и облекались в нравоучительную форму. Вырастая в символ обобщающего значения, герои гоголевской притчи концентрируют в себе важнейшие, родовые черты и свойства других персонажей “Мертвых душ”.

Философски-умозрительно – в духе Кифы Мокиевича – существование Манилова: “Дома он говорил очень мало и большею частью размышлял и думал (...) Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою”. О чем размышляет Манилов, в бесплодных мечтаниях издерживающий жизнь свою? О подземном ходе, мосте через пруд с лавками для крестьян, о том, как было бы хорошо “под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..”

Неуклюжий Собакевич, подобно Мокию Кифовичу, не умеющему ни за что взяться слегка, уже “с первого раза” наступил Чичикову на ногу, сказавши: “Прошу прощения”. О сапоге этого “на диво сформированного помещика” сказано, что он был “такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводитьсь богатыри”.

Образ Собакевича, унаследовавшего от своих древних предков недюжинную физическую силу и поистине богатырское здоровье (“пятый десяток живу, ни разу не был болен”), создан с пародийным использованием традиционных элементов сказочной поэтики. Этот современный российский богатырь, совершающий свои подвиги за обеденным столом, съедает сразу целую “половину бараньего бока”, ватрушки у него “каждая была гораздо больше тарелки”, “индюк ростом в теленка”. “У меня когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся!”

Сам человек здоровый и крепкий, практичный помещик, Собакевич, “казалось, хлопотал много о прочности”. Но практичность этого рачительного хозяина оборачивается самым настоящим расточительством: “На конюшни, сарай и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. (...) Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли”.

Гротескно-выразительные образы Кифы Мокиевича и Мокия Кифовича помогают оглядеть героев поэмы со всех сторон, а не с одной только стороны, где они мелочны и ничтожны. «Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен, – писал Гоголь в статье “О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности”. – Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую из нее сделали (...). Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их, а так как вообще на свете есть много охотников действовать стгоряча, по пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”, то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу».

Герои Гоголя вовсе не обладают заведомо отвратительными, уродливыми качествами, которые необходимо полностью искоренить для того, чтобы исправить человека. Богатырские свойства и пракτικότητα Собакевича, хозяйственная бережливость Плюшкина, созерцательность и радушие Манилова, молодецкая удаль и энергия Ноздрова – качества сами по себе вовсе не плохие и отнюдь не заслуживают осуждения. Но все это, как любил выражаться Гоголь, льется через край, доведено до излишества, проявляется в извращенной, гипертрофированной форме.

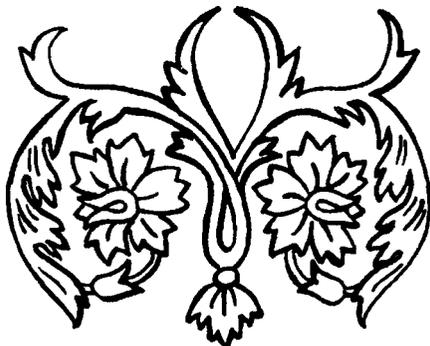
Обратимся теперь к Чичикову. В нем соединение всех “задоров” гоголевских героев. Писатель глубоко заглядывает ему в душу, подчас передоверяет свои сокровенные мысли. Еще в детстве Павлуша обнаружил “большой ум со стороны практической”. Выказывая “прямо русскую изобретательность” и удивительную “бойкость в деловых делах”, Павел Иванович всю жизнь занимался делом. В наиболее концентрированной, афористической форме эта черта главного героя поэмы выражена в его “пословичном” монологе: “...зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать”. “Делом” именуется в поэме и афера Чичикова с мертвыми душами. Весь свой незаурядный практический ум, волю в преодолении препятствий, знание людей, упорство в достижении цели этот неутомимый и хитроумный русский Одиссей растрчивает в деле, не стоящем выведенного яйца. Именно так говорит о своем “деле” Чичиков, выведенный из себя непонятливостью Коробочки: “Есть из чего сердиться! Дело яйца выведенного не стоит, а я стану из-за него сердиться! Как видим, автор заставляет своих героев “проговариваться” о себе в пословицах. Пословицы же в “Мертвых душах” функционально значимы, несут в себе гораздо больший смысл, чем это может показаться на первый взгляд.

Приобретение “херсонского помещика” расценивается чиновниками как “благое дело”. По словам самого Чичикова, он “стал наконец твердой стопою на прочное основание” и “более благого дела не мог

бы предпринять”. На чем же пытается основать свое благополучие Павел Иванович? На мертвых душах! На том, чего нет, что ничего не стоит, чего быть не может! На пустоте. Тщета предприятий и замыслов Чичикова в том, что все они лишены духовного основания. Путь Чичикова бесплоден. Бесплодность эта и выражается через мудрость народного речения о деле, не стоящем выеденного яйца. Эта поговорка впервые появляется задолго до финала первого тома, и ею же Гоголь подводит итог делу Чичикова. И этот традиционный народный вывод, венчающий похождения героя, содержит в себе и приговор ему, и возможность, по мысли автора, его грядущего возрождения. Недаром во втором томе Муразов повторяет про себя: “Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков. Ведь если бы с этойкой волей и настойчивостью, да на доброе дело!”

Художественному мышлению Гоголя свойственны архитектурные ассоциации. Хорошо известно его сравнение “Мертвых душ” с “дворцом, который задуман строиться в колоссальных размерах”. Тогда понятным становится и упоминание о двух обитателях отдаленного уголка России, которые “нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы”. Продолжая метафору писателя, можно сказать, что притча – это окошко, позволяющее заглянуть в глубину художественного мира его книги.





## *Анисовка и Ерофеич*

### Об одном этимологическом мифе

В. Г. ДОЛГУШЕВ,  
кандидат филологических наук

*Тимофеев. Вы водку пьете?  
Иоанн. О, горе мне!.. Анисовую.  
Тимофеев. Нет анисовой у меня.*

*М. Булгаков. Иван Васильевич*

В последнее время в ряду слов, уже вышедших, казалось бы, из употребления и переживших свое “второе рождение”, появилось *ерофеич*. Сейчас так называют многочисленные винные магазины, а вообще это имя нарицательное, и обозначает оно водку, настоящую на пахучих травах. Вошло оно в литературный язык в начале XIX века и активно употреблялось на протяжении всего столетия. После революции 1917 года оно забылось, казалось бы, навсегда и вот снова возвращается в разговорную речь, правда, в основном, уже как имя собственное.

Большинство этимологов придерживаются версии о происхождении данного слова от имени собственного. Название крепкого спиртного напитка связывают с виноторговцем Василием Ерофеичем, жившим в начале XIX века, либо с цирюльником или хирургом графа Алексея Орлова, вылечившим будто бы своего хозяина около 1768 года (Преображенский А.Г. *Этимологический словарь русского языка*. М., 1959. Т. 1.; Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка*. М., 1986. Т. II). Однако наряду с *ерофеич* лексикологи отмечают и *ерофей* с тем же значением:

Прощайте, звонкие стаканы,  
И пуш, и мощный ерофей!

А.И. Полежаев. Сашка

(Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. М., 1996).

Скорее всего, слово *ерофейч* возникло от существительного *ерофей*, равно как и приводимый В.И. Далем глагол *ерофейничать* “пьянствовать” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. I). В свою очередь значение “водка, настоящая на различных пахучих травах” развивалось на основе первичного значения слова *ерофей* – трава *hypericum perforatum*, являющаяся одной из составных частей этого крепкого напитка. А. Преображенский не объясняет происхождение названия этой травы, между тем здесь мы явно наблюдаем переход имени собственного в нарицательное (ср. *Иван-да-Марья*; *Иван-чай*, *Анютины глазки*), что характерно для народной речи, где некоторые названия цветов произведены от имен собственных. Доказательством данного утверждения является то обстоятельство, что В.И. Даль приводил и другой вариант названия настойки на травах – *ерошка* и соответственно *ерошничать*. Слово *ерошка* также имеет своим источником имя собственное – уменьшительно-ласкательную народную форму канонического имени *Ерофей*, ср. *Тимофей* – *Тимошка*.

Следует также отметить, что в литературном языке в XIX веке среди названий сортов водки преобладали либо заимствования: *дoppel-кюммель* “двойная тминная водка” (заимств. из нем. *Doppel-kümmel*), *арак* (вар. *арака*, заимств. из тюрк.), *киндер-бальзам* “слабая сладкая душистая водка, употреблявшаяся как лекарство” (заимств. из нем. *Kinder balsam*), либо словосочетания, состоявшие из имени прилагательного и существительного, указывающие на принадлежность к стране, откуда был вывезен данный сорт водки, например, *английская водка*, *французская водка* и под. Самогон называли пенной водкой (Лотман Ю.М., Погосян Е.А. Былой Петербург. Великосветские обеды. СПб., 1996). Великосветское общество, предпочитая изысканные иностранные вина, мало употребляло различные сорта водок: “Водки, при том, что обедают каждый день человек пять мужчин, за месяц выпивают бутылку горькой английской и полштофа – редко штоф – сладкой” (Лотман, Погосян. Указ. соч.). В среде просвещенного дворянства в двадцатые годы девятнадцатого столетия водка воспринималась как символ демократических взглядов. Не случайно декабристы в “Евгении Онегине” ведут беседы не только “за чашею вина”, но и “за рюмкой русской водки”. Так называемые “русские завтраки” у К.Ф. Рылеева состояли “из графина очищенного русского вина, нескольких кочней капусты и ржаного хлеба” (Воспоминания Бестужевых. М., – Л., 1951).

Широко известна была на Руси с XVII века *анисовая водка*, причем в XVII–XVIII веках наряду со словосочетанием *анисовая водка* употреблялось и словосочетание *анисная водка*, а также субстантивированное прилагательное *анисная* (Словарь русского языка XI–XVII в., М., 1975. Вып. 1; Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984. Вып. 1). В процессе исторического развития словосочетание, включающее в свой состав прилагательное *анисная*, вышло из употребления, а словосочетание *анисовая водка* в разговорной речи образовало существительное *анисовка* с тем же значением “яблочная водка”.

Интересно, что способ номинации в существительном *анисовка* использован тот же самый, что и в существительном *ерофеич*. Это производные от основ слов, обозначающих главный компонент крепкого спиртного напитка. Это еще один аргумент в пользу того, что существительное *ерофеич* образовано от слова *ерофей* со значением “трава, идущая на приготовление этого напитка”. Сам же процесс образования слова *ерофеич* шел таким образом: в народной речи нередко наблюдается употребление нарицательных существительных в качестве производных шуточных имен и отчеств, ср. *Месяц Месяцович*, *Ери Ершович* и т.д. Нечто подобное мы видим и при образовании от существительного *ерофей* (которое перешло из разряда собственных в нарицательное) вновь собственного имени – шуточного отчества *ерофеич*. На то, что процесс словообразования шел именно таким образом, указывает наличие в разговорной речи XIX века наряду с формой мужского рода – имя собственное женского рода: “Живновский. У меня, значит, и в животе уж дрожжи проехали – не мешало бы, знаете, выпить и закусить... А вы, чай, с Настояем Ерофеичем тоже знакомы? Забиякин. У нас в полку его Настасьей Ерофеевной прозывали... как же-с, пью” (Салтыков-Щедрин. *Просители*).

Почему же в разговорной речи в конечном итоге утвердилось лишь наименование водки, настоянной на травах, в форме субстантивированного отчества, а затем вошло и в литературный язык? Московский топонимист М.В. Горбаневский в книге “В мире имен и названий” говорит о том, что форма отчества используется говорящими в определенной речевой ситуации – в неофициальной обстановке, “когда говорящий хочет подчеркнуть особое уважение к человеку, выказать оттенок расположения, любви” (Изд. 2-е. М., 1987). «Неслучайно, – продолжает далее автор, – герой “Калитанской дочки” А.С. Пушкина молодой Гринев зовет своего старого преданного слугу Савельичем». И далее: «По “работающим” словообразовательным моделям в устной речи и художественной литературе образуются слова, имеющие формально все признаки отчеств, на деле же не будучи ими. Как правило, этим словам поручается важная, чаще всего оценочная функция – функция отношения: от иронически-шуточного до саркастического, злого» (Горбаневский. Указ. соч.). В названии *Ерофеич*

выражено уважение к целебному напитку, излечивающему человека от многих болезней, например, от простуды. Вместе с этим в нем имеется оттенок иронии, шутливости (поскольку речь идет о неодушевленном предмете, а используется для наименования имя собственное).

От отчества же некоего цирюльника или хирурга в середине XVIII века данное нарицательное существительное никак не могло быть образовано, поскольку, как указывает М.В. Горбаневский, по “чиновной росписи” Екатерины II отчествами на *-вич* и полутчествами можно было писать и называть лишь чиновников первых восьми классов. Простых же людей называли просто по именам.

Таким образом, название травяной водки *Ерофейч* возникло от основы нарицательного существительного *ерофей*, бытовавшего в живой речи в начале XIX века, по действовавшей в языке номинативной модели, согласно которой в основу названия этого крепкого напитка входило название его главного компонента. Этимологическая версия же, дающаяся в словарях А. Преображенского и М. Фасмера, перекочевавшая затем в ряд авторитетных изданий, в том числе словарей, на наш взгляд, несостоятельна. Этимологические мифы такого рода нередки. Взять к примеру, фразеологизм *держат в ежовых рукавицах*, который многими в 30-е годы двадцатого века ассоциировался с именем наркома внутренних дел Н.И. Ежова, что теперь воспринимается как курьез.

Киров

---



### Какой *мизинец* нельзя было украсить перстнем?

В. В. МИТИН

В современном русском литературном языке слово *мизинец* употребляется в привычном для нас значении “пятый, самый маленький палец на руке, на ноге” (Ожегов С.И. Словарь русского языка): “Он отращивал длинные белые ногти и при письме упирался в бумагу мизинцем с особенно длинным и особенно белым ногтем” (Федин. Первые радости); “Пальцы у него были очень тонкие; доставая деньги из кошелька, он отставил мизинец” (Панова. Спутники).

В настоящее время известно несколько производных от существительного *мизинец*. Разговорное уменьшительно-ласкательное образование *мизинчик* и прилагательное *мизинцевый*, используемое в составе анатомического термина-словосочетания *мизинцевый сустав*: “Про женские ресницы или мизинчик он мог наговорить вам целую кучу слов” (Чехов. Сильные ощущения).

Слово *мизинец* является общеславянским. Оно встречается почти во всех современных славянских языках. Однако в некоторых из них это существительное и его производные используются не только для обозначения пятого, наименьшего пальца руки и ноги, но и выступают со значением “младший ребенок (сын, реже – дочь) в семье”: украинские разговорные *мізінець* (*мизінець*) “[палец] мизинец”, “самый младший сын в семье”, *мизінка* (“младшая дочь”) (Украинско-русский словарь. Киев, 1984); белорусское *мэзенец* “мизинец” (Крапива К. Русско-белорусский словарь. Минск, 1982. Т. 1); болгарские диалектные *мизінец*, *мизул* “последыш (последний ребенок в семье – младший сын)” и “мизинец” (в общеболгарском “мизинец” – кутре), *мизинка* –

“последыш (последний ребенок в семье – младшая дочь)” (Младеновъ С. Этимологически и правописенъ речникъ на българския книжевенъ езикъ. София, 1941; Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. М., 1975); сербскохорватские *mézinaц* (*mjèzinac*), *mézимац* “младший, любимый сын”, также “мизинец” (но обычно “мизинец” – *мали прст*); славенские *mězinec*, *měxinec* “младший сын”, “мизинец”; чешское устаревшее *mezenec* (старочешское *mězenec*) “палец между мизинцем и средним пальцем” (“мизинец” – *malik*); польские *mizynek*, *mizinec* (но чаще *mały palec*) “мизинец” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. II; Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. I).

Как показывает приведенный материал, у слова *мизинец* в некоторых славянских языках (болгарском, сербохорватском, словенском) значение “пятый, самый маленький палец на руке, на ноге” выступает как вторичное, поскольку является неисконным, приобретенным.

История данного существительного в русском языке также свидетельствует о том, что отмеченное значение является переносным. Только пятый, самый маленький палец на руке и ноге человека в современном русском литературном языке обозначается одним словом – *мизинец*. Названия же для других пальцев являются словосочетаниями прилагательных *большой*, *указательный*, *средний*, *безымянный* с существительным *палец*. Таким образом, среди языковых средств, служащих для обозначения различных пальцев, слово *мизинец* стоит особняком. Рассмотрим, каким же образом оно оказалось среди отмеченных словосочетаний.

Происхождение существительного *мизинец* не вполне ясно. Согласно наиболее распространенной точке зрения, это слово родственно литовским *māžaz* “малый”, *mazasis* “мизинец”, *màž* “мало”; латышским *mase* “меньше”, *mass* “маленький, небольшой, низкий”; древнепрусскому *massais* “меньше”.

Существительное \**mězĩньсь* (мезинец, мизинец) было образовано от праславянского прилагательного \**mězĩнь* или \**mězєнь* (древнерусское *мезинь*, *мезиньчи*, то есть “мал, малый”) и, по-видимому, первоначально обозначало младшего, самого маленького ребенка в семье (Горяев Н.В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896; Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1914. Т. I; Фасмер. Указ. соч. т. II; Черных. Указ. соч. Т. II). При чем подразумевался именно младший сын. Об этом свидетельствуют первые примеры употребления слова *мизинец* в древнерусской письменности XIV века: *мезинець* “младший сын”.

В русской письменности прилагательное *мезиньй* (*мизиньй*, *мизинньй*) начинает употребляться намного раньше, чем производное от него существительное *мезинець*. Так, примеры, в которых слово

*мезиный* имеет значение “младший, меньший (сын)” встречаем в древнерусском языке начиная с XIV века: “Приведе жену ц(а)рь Роман мезиному [вариант: *меншему*] с(ы)ну своему Костянтину” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1982. Вып. 9; далее – СлРЯ и вып.). Со значением “меньший” прилагательное *мезиный* (*мизиный*) зафиксировано также в письменности XVI века: “[Ольга] явися... яко мизиная новая ученица Христова” (СлРЯ. Вып. 9).

В древнерусском языке XII века прилагательное *мезиный* (*мизиный*) могло употребляться и в переносном значении “меньший; незнатный”: “[1175 г.] Тако и зде не разумеша правды б(о)жь(и)а, исправити ростовци и суждальци, давнии старшии творящися, новии же людье и мизинии володимирьстии, уразумеше яшася по правду крепко” (Там же).

Слово *мезинець* отмечается в русской письменности с XIV века. В период с XIV по XVI века оно встречается в памятниках только со значением “младший сын”: “Си ми первенец, сии ми мезинець в моемъ пороженнии” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1989. Т. II); “[Лев] роди седморо отрочатъ, от них же бе мезинець ... [седьмой] Константин Философ” (СлРЯ. Вып. 9).

В письменности XVI века существительное *мезинець* со значением “младший сын” уже не встречается. Однако в текстах XVI века с таким же значением отмечается вариативное образование к слову *мезинець* – *мизинко*. В это время оно выступало даже в качестве прозвища: “Писана кабала служивая Василью... на Орину на Трофимову дочь да на его шурина на Офромейка, а прозвище Мизинко”. (Там же).

С начала XVII века существительное *мезинець* фиксируется в севернорусских памятниках только с новым переносным значением “мизинец” и с измененным написанием: вместо буквы “ять” в корне пишется *И* – *мизинець* или *мизэнець*. В народной речи это слово могло также звучать как *мезэнець*: “Якуш Сидоров сын, ростом средней... ус высидает, у в-обех рук мизинцы кривы” (Новгородские записные кабальные книги. 1603 г.); “Подобает сложити три перста: великий и мизинец” (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное); “А палец да что подле мизенца” (Сл РЯ Вып. 9).

Развитие переносного значения *мизинец* “пятый, самый маленький палец руки и ноги человека”, из значения “младший сын” произошло на основе сходства по признаку “самый маленький из...”. Детей в многодетной семье часто сравнивали с пальцами. Об этом свидетельствуют устойчивые выражения, встречающиеся в народной речи. Некоторые из них отмечены в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля: “*Мальчик с пальчик*. *Малец с палец*. *Мальчушка с пальчушка* (...) Который палец не укуси, все одно (равно, больно), о детях” (М., 1990. Т. III).

О старом значении существительного *мизинец* (“младший сын”) в XVII веке напоминало производное прилагательное *мизинцевъ*, которое зафиксировано в составе личного имени: *Андрей Гавриловъ сынъ Мизинцевъ* (СлРЯ. Вып. 9).

В XVII веке пятый, самый маленький палец на руке и ноге человека мог также обозначаться словосочетаниями прилагательного *мизинный* (“меньший”) с существительными *палець* или *персть* (*мизинный палець*, *мизинный персть*); “Ранен стрелою в правую руку в мизинный перст” (Материалы для истории медицины в России. 1678 г.); “Две напарейки, одна болши, а другая поменши, в мизиной палець” (СлРЯ. Вып. 9).

В русской письменности XVII века встречается существительное *мизинный* со значением “самый маленький палец, мизинец”: “Подобаеет сложити три перста; великий и мизинец, и третий подле мизиннаго, всех трех концы вкупе”.

Как уже отмечалось ранее, в народной речи слово *мизинець* могло звучать как *мезенець* (Даль). В русской письменности XVII века появляется аналогичное слово – *мезэнець* (*мезэныцы*), но с другим значением – “житель г. *Мезени*”: “Мезенец Андрей Вавилин приехал с Мезени. Явил по мезенской выписе 50 п. рыб семги”; “Того же дни мезенцы Семейка Силуянов, Ларька Трифанов явили товару 4 сороки соболей, цена 100 р” (Бабкин А.М., Левашов Е.А. Словарь названий жителей СССР. М., 1975). Слово *мезенец* в приведенных примерах образовано от названия населенного пункта – города *Мезэнь*, который возник в XVI веке в Архангельской губернии. Название городу, вероятно, дано по названию реки – *Мезэнь*.

В русском литературном языке XVIII–XIX веков существительное *мизинец* и его уменьшительно-ласкательное производное образование *мизинчик* продолжают функционировать только со значением “самый малый палец у руки и ноги” (Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный. СПб., 1793. Т. 3; Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб., 1814. Ч. 3): “Кого же оцарапал сей мизинец?” (Пушкин. Несколько слов о мизинце г. Булгарина).

Прилагательное *мизинный* со значением “меньший, младший, юнейший” эти же словари отмечают как устаревшее слово. В XIX веке считается “старинный” и название людей “простого званья” – *мизини люди* (Даль). Так с утратой древнего значения слова *мизинец* (“младший сын”) устаревает и слово *мизинный*, от которого существительное *мизинец* образовано. Однако художественные произведения XIX–XX веков свидетельствуют о том, что в народной речи прилагательное *мизинный* со значением “самый маленький, младший” еще продолжало употребляться в словосочетаниях *мизинный палец*, *мизинный сын*: “Большой палец тепериче пригни к мизинному и бе-

зымянному” (Короленко. На Волге); “Прошла через встрепанный годородишко тяжелая артиллерийская тачанка, увозя среднего сына... Один остался сын, мизинный сын – Рува, Рувим” (Горбатов. Мое поколение).

Очень интересные сведения об употреблении слов *мизинец*, *мизинчик* и *мизинный* получаем из русских народных говоров XIX–XX вв. Так, в говорах XIX века существительное *мизинец* (“самый маленький палец”) имело различные произносительные варианты: *ме́зенец* (архангельск., 1885), *ме́зінец* (вологодск., новгородск., ленинградск., 1897), *мизёнок* (олонецк., 1898), *мезёнок* (арх., XIX в.) *мизимец* (вятск., арх., пермс., 1897), *мизю́ра* (арх., 1885. Словарь русских народных говоров. М., 1982. Вып. 18; далее СРНГ и вып.). Слово *мезёнок* в архангельских говорах также могло употребляться как наречие со значением “немного, чуть-чуть”: “Уж ты дай-ко мне, братец, хоть мезенка воды” (СРНГ. Вып. 18). С другим переносным значением в говорах XIX века встречалось и слово мизинец “величина ячеи рыболовной сети, равная *мизинцу*” (Волхов, Ильмень – там же). В. Даль сообщал, что в русских народных говорах XIX века пятый, самый меньший палец (скорее всего руки) мог называться не только словом *мизинец* (в его вариантах), но и словами *пёрстинъ*, *персто́къ*. Однако в его словаре нет указания на место употребления этих существительных.

Уменьшительно-ласкательное образование *мизинчик* и прилагательное *мизинный* в говорах XIX века также выступало в различных произносительных вариантах: *мезёнич* (от *мезенец*; арх. Даль. Т. II), *мезёночек* (от *мезенец*; архангельск.), *мезёнышек* (от *мезёнок*; архангельск.), *мизимчик* (от *мизимец*; вятск., 1897); *мезённый* (*мезён пальчик*; смоленск., 1890), *мизимый* (“маленький”; вятск., 1895–96 – СРНГ. Вып. 18).

Различное произношение слов *мизине*, *мизинчик* и *мизинный* сохраняется и в говорах XX века; *ме́зенец* (зап.-бряск., 1973), *мезёнок* (Медвежьегор. КАССР, 1937–40), *мизю́нок* (КАССР, 1966), *мизёниц* (орловск., 1940), *мизёнец* (тверск., курск., 1930), *мизу́нец* (рязанск., 1960–63), *мизёнич* (от *мизенец*, ЛитССР, 1968), *мизёнышек* (от *мизёниц*, печорск., 1963), *мизу́нчик* (от *мизу́н*, рязанск., 1960–63), *мизу́нчик* (донск., 1976), *мезённый* (“младший”, *мезённый сын*, зап.-брянск., 1976; СРНГ. Вып. 18).

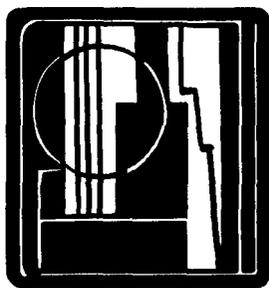
В XIX–XX веках слово *мизинец* входит в состав довольно употребительного устойчивого выражения *не стоить чьего-либо мизинца*, имеющего значение “быть недостойным кого-либо, слишком ничтожным, незначительным в сравнении с кем-либо”; “Не стоишь, брат, и мизинца его” (Даль); “[Ч у г у н о в :] Что Мурзавецкие! Мизинца вашего не стоят” (А. Островский. Волки и овцы).

В русском языке XIX–XX вв. со словом *мизинец* известен также другой речевой оборот – *с мизинец*, *на мизинец*, который имеет значе-

ние “совсем немного, очень мало”: “[А р м а т о р ц е в:] Но существуют люди иного сорта, так называемые вьюны. Дарованья у них с мизинец, но ловкость колоссальная” (Невежин. Неугомонная); “Сознательное насилие <...> для общежития менее опасно, чем та тупая глупость, при которой человек, имея власти на мизинец, считает себя уже в законном праве делать, что ему вздумается...” (Шелгунов. Очерки русской жизни).

Таким образом, слово *мизинец*, зафиксированное в русской письменности с XIV века, изначально имело значение “меньший сын”. С XVI века оно перестает употребляться в этом смысле и функционирует до настоящего времени с другим значением: “пятый, самый маленький палец на руке и ноге”. История существительного *мизинец* в русском языке показывает, что не всегда слово доходит до современности с первоначальным значением. Часто оно заменяется другим, переносным.





## У истоков телевидения

А. Н. ШУСТОВ

По меньшей мере, полвека прошло с тех пор как советские люди в массе своей “освоили” регулярные телепередачи. Сегодня наша жизнь без телевизора просто немислима.

Идея передачи изображения (или, как иногда говорят, “зрительной информации”) на расстояние давно возбуждала умы ученых, инженеров и даже писателей. У поэта В. Брюсова, например, есть строки: “...переговариваясь с друзьями, мы приводили в действие домашний телекинема и радовались, видя лица тех, с кем говорили, или в тот же аппарат любовались иногда балетом” (Брюсов В.Я. Восстание машин (1908) // Литературное наследство. М., 1976. Т. 85; курсив наш. – А.Ш.). Названный автором аппарат – это нечто вроде наших видеофона или видеомagnитофона.

Одним из первых в России реальную идею передачи изображения высказал электротехник П.И. Бахметьев. В середине 1880-х годов он предложил свой аппарат – *телефотограф*, “который мог бы служить для нашего глаза тем же, чем служит телефон для уха” (Электричество. 1885. № 1). Модель этого прибора принято считать прообразом современного телевидения.

Сам термин *телевидение* появился в русском языке сто лет назад. На международном электротехническом конгрессе в Париже (август 1900) электротехник капитан К.Д. Перский прочел доклад “Телевидение при помощи электричества”. Новое слово было образовано им по уже существовавшей в языке модели: *телескоп* (дальнесмотрение), *телеграф* (дальнопись), *телефон* (дальнезвучание), т.е. передача “взгляда”, текста, звука на расстояние (*tële* – греческ. “вдаль, далеко”). Писатель-фантаст в конце XIX века придумал даже *телегазету*.

Так, герой одного из его романов боится зацепиться “за ключ утренней и вечерней фонографической телегазеты” (Робида А. Двадцатое столетие. Электрическая жизнь. СПб., 1894. Изображение “газеты” – на стр. 57). Прилагательное *телегазетный* сравнительно недавно промелькнуло и в нашей современной прессе (Правда. 1989. 22 фев.).

*Телевидение* значит: *дальновидение*. Этот (тогда еще чисто теоретический) неологизм Перского оказался чрезвычайно удачным. С его легкой руки со временем он вошел во все языки мира, дав множество производных слов, чем мы, русские, вправе гордиться.

Однако до реальной передачи изображений на расстояние тогда было еще очень далеко. Основоположником современного телевидения стал Б.Л. Розинг, долгое время работавший с Перским на одной кафедре в Константиновском артиллерийском училище в Петербурге. В 1923 году он издал брошюру (переизд. в 1925) “Электрическая телескопия (видение на расстоянии)”, в которой попытался, как видим, придать старому термину *телескопия* новое значение. Автор подробно изложил техническую идею будущего (!) прибора дальнего видения, называя его по-старинке *телескопом*, но снабдив специальным определением – *электрический*. Розинг напомнил и об идее Бахметьева: “Передача совокупности точек в виде рисунка или фотографического снимка осуществлена уже в электрической телефотографии” (Розинг Б.Л. Электрическая телескопия. Пг., 1923).

В тот начальный, поисковый, период были и другие варианты названий. Например, *радиотелефот*.

В середине 1920-х годов знаменитый впоследствии изобретатель Л.С. Термен работал в физико-техническом институте у А.Ф. Иоффе, который предложил ему тему диплома – “Электрическое дальновидение”, в результате чего в 1926 году Термен изобрел свой “телевизор” (Подробнее см.: Русская мысль. 1998. 3–9 дек.).

Первые передачи (еще неподвижных!) изображений были осуществлены только осенью 1931 года. Тогда московские газеты дали такую рекламу: “Смотрите! Смотрите! Передает Москва! (...) произойдет передача в эфир изображений (телевидение). Настраивайтесь на волну 379 метров! Смотрите! Передает Москва!” (цит. по: Правда. 1981. 28 авг.). Опытные передачи движущихся изображений начались уже через год: “Вчера состоялось открытие студии телевидения при ленинградском радиоцентре” (Вечерняя Красная газета. 1932. 3 мая). Но это еще не было телепередачей в нашем понимании. Первая “настоящая” телевизионная передача со звуковым сопровождением состоялась в Москве 15 ноября 1934 года. Тогда же вошло в языковой оборот и название видеоприемника – *телевизор* (тот же номер “Красной газеты”). Это прибор “по-русски следовало бы назвать дальновидом” (Звезда. 2000. № 7) или *дальнозором*. Но к исходному *телевидению* уже привыкли.

Одна из экспериментальных отечественных телеустановок демонстрировалась в феврале 1935 года, и лишь в 1936 году начались передачи из московского радиоцентра (Огонек. 1936. № 22), который вскоре получил соответствующее название – телецентр (Техника – молодежи. 1937. № 9). А в июле 1938 года начал вещание ленинградский телецентр. Тогда же в ленинградском Александровском саду был даже сооружен специальный павильон (по типу летнего кинотеатра) “Телевизор”, где был показан первый публичный сеанс телепередачи, нечто вроде киносеанса. Качество изображения на небольшом экране было, конечно, весьма скромным, и мало кто мог что-либо толком рассмотреть с большого расстояния. Но это было подлинное чудо техники, и люди запомнили его.

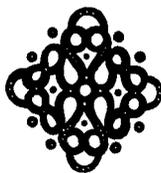
А затем грянула война. И лишь в 1947 году возобновил передачи ленинградский телецентр. Современников поразила тогда прямая, внестудийная передача первомайского парада с Дворцовой площади... Вот так и вошел в наш быт телевизор, жизнь без которого сегодня и представить себе невозможно. Но при этом мы не должны забывать и о “филологической” заслуге К.П. Перского.

*Санкт-Петербург*

---

---

За знакомой строкой



## МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

Н. С. АРАПОВА,

кандидат филологических наук

Книга Ю.М. Лотмана «Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Пособие для учителя» пользуется заслуженной популярностью не у одних только учителей. Читая эту книгу, мы натолкнулись на дискуссию о *магическом кристалле*. Имеется в виду фрагмент пятидесятой строфы восьмой главы “Евгения Онегина”:

И даль свободного романа  
Я сквозь магический кристалл  
Еще неясно различал.

Вмешиваться в спор таких специалистов, как Н.О. Лернер, М.Ф. Мурьянов и Ю.М. Лотман, безусловно, дерзость. С самого начала подчеркиваем, что пробуем взглянуть на эту проблему глазами не пушкиниста, а только лексикографа.

Итак, о чем спор?

Н.О. Лернер полагал, что *магический кристалл* – это стеклянный шар для гадания; освещая его сзади колеблющимся пламенем свечи, гадающий всматривается в образы, появляющиеся в шаре, и пытается их истолковать. (Этот способ гадания известен и ныне и даже недавно демонстрировался по телевидению.)

М.Ф. Мурьянов не соглашался с Н.О. Лернером: стекло аморфно и не имеет кристаллической структуры и, стало быть, Пушкин не мог иметь его в виду, говоря о *магическом кристалле*.

Ю.М. Лотман внес поправку в трактовку М.Ф. Мурьянова: «...слово “кристалл” в высоком стиле могло означать и стекло» (далее следуют убедительные примеры из стихотворений Г.Р. Державина и А.С. Пушкина).

Н.О. Лернер и Ю.М. Лотман, безусловно, правы. Здесь мы хотим уточнить значение слова *кристалл* “стекло”. В конце XVIII – начале

XIX веков существительное *кристалл* могло иметь следующие значения: 1. Особая структура некоторых минералов – поваренной соли, медного купороса и др. 2. Горный хрусталь (полудрагоценный камень), естественно образующийся в природных условиях (и, кстати сказать, также имеющий кристаллическую структуру). 3. Стекло высокого качества, отличающееся особой чистотой и прозрачностью; изделия из такого стекла, особенно граненые подвески для люстр и жирандолей (то, что в современном языке называется *хрусталь*: “на свадьбу мне надарили гору хрусталя – фужеры, рюмки, вазочки, пепельницу”). Современный литературный язык сохранил (и развил) только первое из этих значений, причем развитие значения связано с экстралингвистическими факторами: кристаллография со времен Пушкина существенно изменилась; появилось такое немислимое в начале XIX века терминологическое словосочетание, как *жидкий кристалл*. Второе же и третье значения в современном языке исчезли; третье значение сохранилось в производном прилагательном *кристальный* “абсолютно прозрачный; очень чистый; безупречный”.

Слова *кристалл* и *хрусталь* этимологически связаны. Об этом можно прочесть в этимологических словарях М. Фасмера и П.Я. Черных, у В.В. Виноградова (“История слов”); в свое время мы также уточняли некоторые моменты, связанные с проникновением этих слов в русский язык (Арапова Н.С. Кристалл и хрусталь // Русский язык в школе. 1978. № 3), так что повторяться не имеет смысла. Скажем лишь кратко, что оба слова восходят к греческому, но *хрусталь* – древнерусское заимствование из греческого языка византийского периода, а *кристалл* – позднее заимствование из научной латыни.

Вплоть до начала XIX века *хрусталь* и *кристалл* были синонимами: три уже приведенные значения слова *кристалл* имело и слово *хрусталь*. К середине XVIII века слово *хрусталь* уже не воспринималось как инородное заимствование, оно вполне обрусело. Поэтому его было можно использовать для семантического калькирования французского *crystal*, имевшего значения: 1. “кристалл”; 2. “высококачественное стекло”. В текстах XVIII века мы находим не только слово *хрусталь* в значении “кристалл”, но и производные от него *хрустал(л)из(ир)оваться* “кристаллизироваться”, *хрустал(л)изация* “кристаллизация”. Так, в “Минералогии” И.Г. Валерия (1763 г.) читаем: “Гипсовые хрустали, гипсовые друзы... есть хрусталлизированной и фигурованной гипс... от шпатовых хрусталей и друзов отличаются”. Этими производными авторы химических исследований пользовались еще в первой четверти XIX века.

Итак, в этимологических словарях современного русского языка должно быть две статьи: 1. **Хрусталь** *минерал*. “горный хрусталь” – древнерусское заимствование из греческого языка византийского периода. 2. **Хрусталь** “высококачественное стекло; изделия из такого

стекла” – возможно, семантическая калька французского *crystal*, появившаяся в середине XVIII века: выражение *хрустальная французская посуда* отмечается в “Торге Амстердамском” (1763. Т. 2); “Cristal... хрусталь, самое белое и чистое стекло” (Соц И. Новый лексикон или словарь на французском, италийском, немецком и латинском языках. 1784. Т. 1). Правда, В.В. Виноградов, ссылаясь на Словарь Срезневского, относил возникновение этого значения к XV–XVI векам, но из приведенных им примеров неясно, о каком хрустале идет речь – о стекле или о минерале *горный хрусталь*.

*Пугвицы хрустальные*, о которых говорится в “Конском приборе царя Бориса Федоровича Годунова”, скорее всего, были из горного хрустала, так как в это время было принято украшать богатую парадную одежду пуговицами из драгоценных камней (“Однорядка скорлатна.., а пугвицы у нее лалцы [рубины. – Н.А.]” – Духовная Дмитрия Ивановича 1509 г. – Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912. Т. 2). Для слова *хрусталь* Срезневский дал только одно значение – “горный хрусталь”.

Обратимся к цитатам из Державина и Пушкина, на которые ссылался Ю.М. Лотман. Первая взята из “Вельможи” Г.Р. Державина: “Не истуканы за кристаллом (т.е. под стеклом. – Ю.Л.), В кивотах блестящи металлом...” Державин написал не *стекло*, а *кристалл* не только рифмы ради: обстановка дома Вельможи подчеркнута, демонстративно роскошная, и даже стекла его “кивотов” не простые, а высококачественные.

Вторая цитата – пушкинская строка “... отразилась в кристалле зыбких вод”. Ю.М. Лотман пояснил: «“т.е. в стекле, в зеркале вод”. Здесь мы, по-видимому, имеем дело с галлицизмом: франц. “le cristal des eaux” *поэт*. Зеркало вод (французско-русский словарь. Составила проф. К.А. Ганшина. Изд. 3-е М., 1957)

».

Подытоживая сказанное, мы беремся утверждать, что *магический кристалл* – это стеклянный шар ясновидящего; этот шар сделан из *хрустального стекла*.



## Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов

В. Г. ЗДАНКЕВИЧ

Ударные гласные в личных окончаниях глаголов пишутся в соответствии с их произношением, например: молчит – молчат, сидит – сидят, шагнёт – шагнут, поёт – поют.

Безударные же гласные в глагольных окончаниях на слух обычно не различаются: рисуёт, пишет, клéит, слы́шит (произносим [ит], а пишем то ет, то ит). В таких случаях для выбора гласных принято опираться на глаголы в неопределенной форме, которые условно можно разделить на три группы: 1) оканчивающиеся ударным сочетанием [ит’], 2) не оканчивающиеся сочетанием [ит’], 3) оканчивающиеся безударным сочетанием [ит’].

Написание гласных в личных окончаниях глаголов, образованных от первых двух групп, как правило, не вызывает затруднений у пишущих: если неопределенная форма с [ит’], то в большинстве личных окончаний пишется *и*, а в 3-м лице множественного числа *ат(ят)*, например: лечить, лепить – [ит’] под ударением, значит: лечИшь, лечИм, лечИте – лечАт; лепИшь, лепИт, лепИм, лепИте, лепЯт эта группа глаголов изменяется по II спряжению). Если неопределенная форма оканчивается сочетаниями *-ать, -еть, -оть* и др. (кроме [ит’]). то в большинстве личных окончаний пишется *е*, а в 3-м лице множественного числа *ут(ют)*, например: щекотать, стлать (“стелить” – разговорная форма, личные окончания употребляются только от формы *стлать*), краснеть, колоть, прыгнуть, гулять – значит: щекочЕшь – щекочУт, стелЕшь – стелЮт, краснеЕшь – краснеЮт, колЕшь – колЮт, прыгнЕшь – прыгнУт, гуляЕшь – гуляЮт (эта группа глаголов изменяется по I спряжению).

Третья группа глаголов (а их у нас около двух тысяч!) – источник распространенных ошибок у пишущих, т.к. у произносимого [ит’] четырехвариантное буквенное обозначение: *-ать, -еть, -ить, -ять* (слуш[ит’] – слушать, опостыл[ит’] – опостылеть, ужал[ит’] – ужалить, леле[ит’] – лелеять). А это значит, что в личных окончаниях глаголов этой группы различные гласные: у одних глаголов *е* и *ют*, у других же *и* и *ат(ят)*, т.е. одни глаголы этой группы изменяются по I спряжению, а другие – по II спряжению.

Чтобы верно определить написание гласных в личных окончаниях подобных глаголов, можно пользоваться следующим практическим правилом: **е** и **ют** писать в том случае, когда на конце большинства личных форм имеются (произносятся) два гласных, например: слуш-**а-е-шь**, слу-ш-**а-ю-т**; опостыл-**е-е-шь**, опостыл-**е-ю-т**; лел-**е-е-шь**, лел-**е-ю-т**; **и** и **ат(ят)** следует писать тогда, когда на конце большинства личных форм имеется (произносится) **один гласный**, например: итож-**и-шь**, итож-**а-т**; ужал-**и-шь**, ужал-**я-т**.

Обратите внимание! В немногих глаголах с неопределенной формой на *-оить* (*строить, удвоить, успокоить* и нек. др.) и в глаголах *драить, клеить, оевропеить(ся)* в большинстве окончаний пишется *и*, а в 3-м лице множественного числа *ят*, хотя на конце личных форм у этих глаголов два гласных. В личных формах глагола *брить* следует писать **е** и **ют** (бреешь, бреют).

Можно избавиться от запоминания 11 глаголов, которые принято относить к исключениям, если привыкнуть к правильному произношению их в форме 3-го лица множественного числа, т.е. произносить *гонят, держат, слышат, дышат, видят, ненавидят, зависят, обидают, вертят, смотрят, терпят*. При этом нужно учесть, что если в 3-м лице множественного числа глаголы оканчиваются на **-ат(-ят)**, то в остальных формах у них пишется гласная **и** (*гонИшь, гонИт, гонИм, гонИте, видИшь, видИт, видИм, видИте* и т.д.).

В процессе письма руководствуйтесь рекомендациями, сформулированными в обобщенном виде:

1. В окончаниях глаголов пишутся буквы **и** и **ат(ят)**, если глагол образован от неопределенной формы с **-ить (-оить)** или если образован от неопределенной формы с безударным [*ит'*] и с одним гласным на конце большинства личных форм.

2. В окончаниях глаголов пишутся буквы **е** и **ут(ют)**, если глагол образован от неопределенной формы не на **-ить**, и пишутся буквы **е** и **ют**, если глагол образован от неопределенной формы с безударным [*ит'*] и с двумя гласными на конце большинства личных форм.

## Ю.Л. ВОРОТНИКОВ. Степени качества в современном русском языке

Конец ушедшего века отмечен в языкознании всепобеждающим интересом к проблемам лингвофилософского плана. Несомненно, самым актуальным и вместе с тем самым перспективным можно сегодня признать описание языка в совокупности и взаимообусловленности его онтологических и гносеологических характеристик. К такого рода описаниям относится и книга Ю.Л. Воротникова “Степени качества в современном русском языке”, вышедшая в 1999 году.

Ход рассуждений и оценки автора заданы принципиальным подходом к понятию качества как к важнейшей философской категории. Опираясь на соответствующие положения, в частности, в блестящих работах Ю.С. Степанова, Ю.Л. Воротников квалифицирует философский смысл понятия “как синоним широко понимаемого качества”. Вот это широко понимаемое качество и есть онтологический объект авторского описания.

Поскольку в центре внимания исследования не качество само по себе, а степени проявления качественного признака, постольку методическим инструментом измерения этой степени выступает *градация* как некая универсальная категория, “отражающая способность человеческого мышления расчленять происходящие с объектами качественные изменения на определенные отрезки, количественно характеризовать их и соотносить между собой” (С. 11). Таким образом, *градация “количества качества”* в сравниваемых носителях признака(ов) – это основная гносеологическая категория описания.

Содержательно-формальные характеристики степеней качества представлены в двух ракурсах: а) как количество качества, проявляющееся в разных состояниях одного носителя (относительные, или релятивные степени качества) и б) как количество качества, проявляющееся относительно “нормы” признака (безотносительные, или абсолютные степени качества). Двоякий подход к предмету исследования формирует композицию книги.

В первой главе подробно охарактеризованы и критически осмыслены разные теоретические концепции, в которых отражены взгляды как на саму проблему деления степеней качества, так и на проблему их терминологического обозначения. Кроме того, здесь рассматриваются вопросы о месте позитива в системе степеней качества и о “норме” признака, а также ряд других проблемных вопросов по теме исследования.

Для обоснования главной авторской установки существен раздел 1.1., где читателю предлагается исторический экскурс в проблему разме-

жевания степеней качества от ее истоков (Ломоносов, Греч, Павский, Востоков и др.). Этот экскурс Ю.Л. Воротников завершает общим рассуждением о том, что вопросы, связанные со спецификой выражения в русском языке степеней качества, в настоящее время пересматриваются на основе новых подходов к материалу языкового исследования. В свете этого вполне естественно, что внимание автора приковано прежде всего к концепции А.В. Бондарко, который, описывая функционально-семантическое поле (ФСП) компаративности (степеней сравнения), различает два ее вида – эксплицитную и имплицитную, что, по убеждению Ю.Л. Воротникова, соответствует традиционному противопоставлению относительных и безотносительных степеней качества (С. 22).

Во второй главе описывается система безотносительных степеней качества. В разделе 2.5. характеризуются средства выражения такого рода степеней с пространственным анализом примеров обозначения высокой, низкой и средней степени качества.

Описание относительных степеней качества и средств их выражения представлено в третьей главе. В системном плане степени качества такого рода характеризуются в триаде экватив (равная степень) – компаратив – суперлатив. В разделах 3.4.–3.10. подробнейшим образом, на многочисленных примерах и с обстоятельным разбором соответствующих научных концепций исследуются способы выражения *градации признака* по всем позициям названной триады.

На тридцати страницах текста четвертой главы читатель знакомится с конкретным языковым материалом, иллюстрирующим функционирование некоторых типов градационных конструкций. Все примеры сопровождается содержательный авторский комментарий.

В целом монография Ю.Л. Воротникова представляет несомненный интерес как своей лингвофилософской направленностью, так и в качестве реального вклада в разработку предложенного Н.Ю. Шведовой оригинального описания смысловой структуры языка на основе общих смысловых категорий. Автор книги “Степени качества в современном русском языке” в ряд таких общих категорий вводит категорию меры, рассматривая местоимения *несколько* и *сколь* как ее смысловые исходы (заданные системой языка действительные слова, по Шведовой).

**Л.П. Катлинская,**  
доктор философских наук



## ХОРОШАЯ РЕЧЬ

Общепризнано, что современное состояние русской речевой культуры довольно тревожное. Именно на такой оценке сходятся почти все: и лингвисты, и филологи, и деятели культуры, и общественные деятели, и школьные учителя, и просто читатели и зрители средств массовой информации.

Вместе с тем в обществе отмечается большая потребность в литературе по речевой культуре.

В этой связи нельзя не приветствовать выхода в свет коллективно-го труда саратовских лингвистов, давно и продуктивно работающих в области современной русской стилистики, под характерным и мобилизующим названием “Хорошая речь” (Под редакцией М.А. Кормилицыной и О.Б. Сиротинной. Изд-во Саратовского университета. 2001). Посвящен он светлой памяти профессора Галины Георгиевны Полищук – неумолимого борца за чистоту и красоту русской речи.

Хотя книга аттестована как научное издание, по своей доступности, характеру и качеству обсуждаемых вопросов, богатому иллюстративному материалу из современной речевой практики, она, по сути, ориентирована на широкого читателя.

Тон всей книге задает первая глава, написанная профессором О.Б. Сиротининой, в которой в общем, предварительном виде, но в достаточной мере развернуто представлены основные критерии хорошей речи – соответствие ситуации, целесообразность, согласованность с принятой в данном языковом коллективе этикой общения, опора на современные языковые нормы, диапазон потенциально допустимых или недопустимых отклонений от общепринятой литературной нормы в зависимости от типа речи.

Чтобы точнее обрисовать то, что называется культурой речи, правомерно и адекватно современному состоянию русской речевой культуры выделяются четыре ее типа: элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно-разговорный. Каждый из них увязывается с показателями общей культуры автора речи.

При этом нельзя не согласиться с О.Б. Сиротининой, когда она дает общую оценку возможностей риторических приемов в разговорном общении: "...риторически организованная речь настолько противоречит условиям разговорного общения, что даже в случае ее осуществления (сомнительна сама ее возможность), вызвала бы неприятие такой речи из-за ее нарочитости. Разговорная речь, как правило, заранее не продумывается, поэтому намеренность в ней употребления какого-то языкового средства, особого приема, в том числе и языковой игры, весьма относительна".

Здесь содержится ответ на актуальный вопрос о том, насколько велика роль собственно риторики в повышении речевой культуры современного общества.

В последующих главах книги, написанных разными авторами, подробно раскрывается то, из чего складывается хорошая речь, – правильность с точки зрения нормы и коммуникативная целесообразность; соответствие речи жанру, этическим, коммуникативным и риторическим нормам, типам речевой культуры, а также творческому своеобразию ее автора. В завершение помещены образцы хорошей устной и письменной речи с комментариями, а также обширный список литературы для самообразования.

Было бы желательно, чтобы книга "Хорошая речь" нашла себе применение не только в вузовской и в школьной жизни, но и среди широкого круга читателей, которым небезразлична судьба родного языка и отечественной культуры.

**З.К. Тарланов,**  
доктор филологических наук

*Петрозаводск*

## ***Кто восклицает “Царствуй, лежа на боку!”?***

*Н. А. ЕСЬКОВА,  
кандидат филологических наук*

Анне Ахматовой принадлежит открытие литературного источника “Сказки о золотом петушке”, которым оказалась “Легенда об арабском звездочете” Вашингтона Ирвинга. Сравнивая пушкинскую сказку с источником, Ахматова замечает: “у Ирвинга волшебные талисманы не разговаривают (медный петух, медный всадник). У Пушкина золотой петушок иронизирует над царем” (А.А. Ахматова. О Пушкине. М., 1989. С. 21). Имеется в виду восклицание: “Царствуй, лежа на боку!”

Воспроизводимая во всех изданиях пунктуация текста сказки “приписывает” это восклицание петушку. Однажды я услышала в одной радиопередаче (в которой шла речь об этой сказке) предположение позвонившей в студию слушательницы, что это слова не петушка, а “авторский комментарий” к его восклицанию “Кири-ку-ку”.

Это соображение показалось мне очень интересным. Может быть, подтверждение ему можно найти, изучив пунктуацию рукописи сказки? Не имея возможности заняться таким исследованием, я решила все-таки выступить с этой заметкой и даже высказать произвольное предположение.

Известна запись в дневнике Пушкина:

“Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:

Царствуй, лежа на боку

и

Сказка ложь, да в ней намек,  
Добрый молодцам урок.

Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова” (Полное собр. соч. в 10 тт. Т. VIII. М., 1949. С. 64).

Не было ли приписывание восклицания петушку “хитростью” – с надеждой пройти через цензурные препоны? (С петушка все же не такой “спрос”, как с автора.) Хитрость не помогла, а пунктуация осталась...

Мою заметку, таким образом, можно считать “призывом” обратиться к рукописи “Золотого петушка”...

## Низкий стиль политического языка

*О. В. БОГОМОЛОВА*

Политическая трибуна традиционно использовала высокие нормы официально-делового стиля. Но изменение культурного уровня общения, его снижение и вульгаризация затронули и эту сферу. Политический язык насыщается грубо-просторечными выражениями. Это вызывает возмущение части общества, сохраняющей тяготение к строгому стилистическому разграничению.

Речь должна отвечать требованиям понятности, логичности, языковой правильности. Понятность предполагает ориентацию на средний уровень адресата, его культурные предпочтения, ментальные особенности и поведенческие стереотипы. Чаще всего для общения используется литературный язык публицистической разновидности с вкраплениями элементов официально-делового, разговорного и научного стиля.

Отклонения от правильной литературной речи нередко являются средством узнавания политического деятеля. Чаще всего это слова-паразиты или устойчивые обороты речи: “однозначно”, “понимаешь”, “шта” вместо “что”. Все эти слова приобретают политическую ангажированность за счет отнесения к конкретной личности, чего нельзя сказать об общеязыковых словах-паразитах: “в натуре”, “типа”, “ну”. Подчеркнуто правильная, интеллигентная речь в политической коммуникации встречается редко. Советская пропаганда подавала ее как знак врага, поэтому частью населения она воспринимается негативно, вызывая раздражение или зависть: от российского политика, дескать, требуется мудрость, а не эрудиция, деятельность, а не красноречие.

В настоящее время употребление просторечной и жаргонной лексики ограничено ситуацией неформального или эмоционального общения. Такое слово выделяется в качестве элемента другого стиля, его чужеродность хорошо осознается, оно становится источником языковой игры. Усредненный литературный язык кажется слишком невыразительным, нейтральным, а политика тяготеет к экспрессии. Поэтому идет активное проникновение в речь слов, которые обыкновенно выходят за рамки литературного языка. Как можно видеть, эти тенденции в политической речи проявляются наиболее сильно, особенно из-за контраста с господствовавшим в советское время официальным возвышенным стилем. Некоторые из этих слов вошли в язык,

перестали маркироваться: “политическая тусовка”, “очередной прикол депутата” (о выступлении, высказывании), “разборки в Думе”, “накат на правительство”, “передел” – распределение должностей. Большая часть жаргонной лексики продолжает оставаться маркированной, что делает недопустимой ее использование в официальном общении. В противном случае возникает сомнение в социальной принадлежности употребляющих такие выражения, как “опущенный премьер”, “пресс-хата”, “канать за границу” и т.п.

В политической коммуникации активизировался жаргон, активно насаждаемый СМИ. Его специфической чертой является замена идеологических и этических акцентов юмором или скабрёзностью. На первый план выходит желание быть оригинальным, остроумным. Объектом для иронии становятся самые новые, модные понятия, а также традиционные ценности. Их использование демонстрирует не только языковую неразборчивость, но и презрение к правилам культуры. Пока что эти выражения бытуют в околополитической журналистике, но постепенно проникают и в речь политиков: “бомжи” о депутатах-одномандатниках, “Америка пытается опустить Россию” и т.п.

Идеал политического деятеля в рамках русской культуры ориентирован на архетип отца, поэтому предполагает понятную речь, отражающую уверенность в себе, авторитет и т.д. Плохое владение языком свидетельствует о низком образовании, недостаточной духовной развитости.

*Кемерово*